

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
СОВРЕМЕННЫХ
БЕРЛИНСКИХ АВТОРОВ

ЭВРЕЙСКИЕ МОТИВЫ





ЕВРЕЙСКІЕ

МОЖИВЫ

Руководитель проекта
ИОСИФ ВАРДИ

Составитель
ЛЕОНИД БЕРДИЧЕВСКИЙ

Макет и оформление
ИОСИФА МАЛКИЭЛЯ

Иллюстрации в книге
и на обложке
ИРИНЫ ДМИТРЕНКО

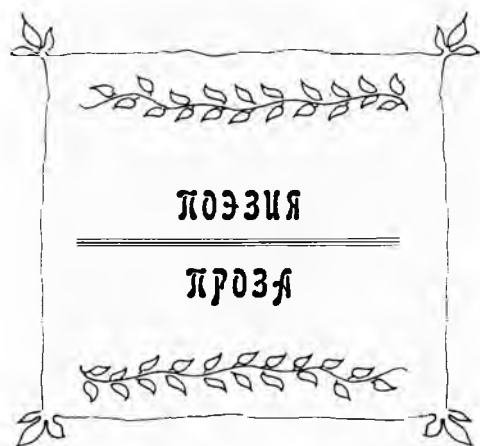
Все авторы сборника – члены
клуба литературы и искусства
«Хатиква» при ЦВСТ (Берлин)

Берлин, 2011 год

ЕВРЕЙСКИЕ МОТИВЫ

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
СОВРЕМЕННЫХ
БЕРЛИНСКИХ АВТОРОВ





ПОЭЗИЯ

ПРОЗА

Леонид Бердичевский

ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК

*«Нет памяти о прошлом, да и о том,
что будет. Не останется памяти у тех,
которые будут после»*

(Книга Экклезиаста. Глава 3, стих 11)

Мише Эненштейну

* * *

Укрепляется в нашем сознании миф,
а реальность событий почти эфемерна...
Где, к примеру, слова, что когда-то Юдифь
обращала в сердцах к голове Олоферна?

Так и век наш провалится в небытиё,
позабудется всё, что нам подвигом мнится,
каркнет хрипло в пространство о нас вороньё,
и утонет, как в бездне исчезла б крупица.

Для потомства останется призрачный миф
о войне и о бунте, расстрелах и гетто, –
современной истории скорбный мотив,
но с годами и он затеряется где-то.

МОЁ МЕСТЕЧКО

Я листал свою жизнь за страницей страницу,
вспоминал своих предков прекрасные лица...

К сожаленью, в еврейском местечке я не был,
Не вдыхал его запах, не ел его хлеба.
Хоть и были далёкие предки оттуда,
никого не коснулись его пересуды.

Мойхер-Сфорим и Шолом-Алейхем, и Бабель
подарили местечко мне в полном масштабе.

Понял я, где начало берут мои корни,
и дыханье моё стало много проворней.
Ощутил с ним тогда общность родственных связей,
что по мне расплескались причудливой вязью,
и меня снарядили по жизни в дорогу,
завещав чистоту уважения к Богу.

Стали ближе мне хупы, брит-милы, бармицвы,
грусть в глазах местечковой библейской девицы,
блюда кухни еврейской, беззлобные споры,
местных цади́ков мудрые приговоры.
Их великая правда, что сердечностью движет,
для меня обозначилась высшим престижем.

И никто эти чувства заменить мне не сможет,
ни Нью-Йорк, ни Париж с их комфортом и ложью.

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

«Как часто читаешь ты Ветхий Завет?» –
спросили с ехидцей меня.
«Всегда – я шепчу – с незапамятных лет,
он совесть моя и броня.
Я знаю по главам его, наизусть,
прозренье он сеет и свет,
смягчает волнение, невзгоды и грусть,
советчик мой, Ветхий Завет.
Всем жизненным опытом, Ветхий Завет,
питает меня из щедрот.
Я мудростью вечной его обогрет,

он свежие силы даёт.
Читаю я заново Ветхий Завет,
и высшего мне не дано.
Я знаю, что он в беспредельность билет,
бессмертье ему суждено».

ВОСПОМИНАНИЕ

Ночь на дворе,
да вот не спится.
В глазах стоят родные лица.
В кипе и талесе мой дед
творит субботнюю молитву
и бабушка, чуть слышно, скрытно,
за дедом повторяет вслед.

Отец в углу газетой занят,
а мама подаёт обед
и ветер вдалеке буйнит.

На подоконнике свеча.
Вечерний мрак в окно крадётся.
Наливка в стопки робко льётся.
Ломает халу дед, шепча.

И всё...
Попала в глаз ресница.
Подушка стала горяча.
Пора уснуть,
да вот не спится.

БИБЛЕЙСКИЙ СТИХ

Гортанной россыпью иврита
молитвы повторял мой дед.
В словах их смысл был, иль нет,
тогда, по молодости лет,
я не искал в чём тайна скрыта.

Я повзрослел.
Душой Поэта
стал понимать: библейский стих
дороже помыслов мирских,
богаче копей золотых, –
он соткан Совестью и Светом,
его теплом земля согрета,
и это утверждает Бог,
в стихе библейском наш исток,
существования залог,
и время подтвердило это.

Бегут века.
Прочней гранита
молитвами скреплённый дух,
он не исчез и не потух...
стихом библейским тешим слух
гортанной россыпью иврита.

* * *

Меня вдавила жизнь в угол
под надоедливый мотив...
А дед мой был высок и смугл,
библейски-мудр и красив.

Оставил мне в наследство только
еврейских шуточек ушат,
мезузу, махзор и ермолку,
и жажду думать и дышать.

БАЛЛАДА О НОЧНОМ БЕРЛИНЕ

– Ночью Берлин вы хоть раз разглядели?
– Ночью мы нежмся в тёплой постели.

– Мне очень жаль, совершенно напрасно.
Выглядит город ночами прекрасно.

Он под луной утопает в покое, –
только во сне можно видеть такое.

Шпрее, то долго молчит нарочито,
то ударяется в плиты гранита.

В ночь фонарей погасили бутоны,
лип и берёз успокоились кроны.

Кнайпы закрыты и в парках безлюдье,
и отдыхают заботы и судьбы.

Замерло всё, как на старой картине
лунною ночью в уснувшем Берлине...

Примем мы лунную ночь за основу
в месяц ноябрь года тридцать восьмого.

Время дрожало, рыдало в Берлине,
в свастике город был, как в паутине.

Лунною ночью евреев громили,
немцев травили в нацистской бацилле.

В окна домов, в магазинов витрины,
камни летели под хохот звериный.

Женщины ль, дети и старики ли, –
всех, без разбору, молодчики били.

Не пощадили они синагогу, –
думали к Богу отрезать дорогу...

Не было в мире в то время жесточе
этой «Хрустальной» истерзанной ночи.

ИЕРУСАЛИМ

Мой голос внутренний поёт:
Иерусалим!
Давида город, город Соломона,
он на холмах стоит и горных склонах,
тремя религиями он боготворим.

Он символ вечности.
Стекается народ,
чтоб поместить желанье в Стену Плача,
и верит, что Господь прочтёт их и поймёт,
и наградит покоем и удачей.

От севера его, с Гило, на юг – в Рамот,
все трудятся и защищают землю,
никто иную жизнь и не приемлет,
лишь ту, в которой счастлив весь народ.

Там лето круглый год, и только шутки зим,
цветы и цитрусовый сад на камнях.
Пропитан он библейскими стихами.
Мой голос внутренний поёт:
Иерусалим!

Я Господа прошу, ему слагаю гимн,
чтоб Город процветал тысячелетья,
и не было на нём войны отметин.
Мой голос внутренний поёт:
Иерусалим!

* * *

*Карлу Абрагаму,
довоенному уроженцу Берлина*

В звенящем ритме детских голосов
знакомые улавливаю ноты,
звучат в них звонко ликованья взлёты
и исчезает призрак катастроф.

Солдат не разряжает карабин,
и больше никогда нацистский почерк
не повторит кошмар «Хрустальной» ночи,
и миром дышит будничный Берлин.

Детей еврейских вновь задорный смех,
как музыка, на улицах Берлина.
Нет, не забыть погибших здесь безвинно,
и всех трагедий лет кровавых тех.
Снимаю шляпу со своих седин
за то, что ты мне, одному из многих,
без проволочек и решений строгих
позволил возвратиться в мой Берлин.

Михаил Верник

А ВЫ ПОПРОБУЙТЕ

Мясные продукты из свинины Боря любил больше всего. Нет, конечно, и курочку Боря уважал, но как мог борщ из курицы сравниться с борщом из свиных рёбрышек? Как мог куриный шашлык сравниться с шашлыком из свиной вырезки? А жаркое из свинины, а колбасы с чесноком и перцем. А сало??? Вы только вдумайтесь, какое это волшебное слово – с-а-л-о! Закройте глаза и вдохните – сало, жареное с картошкой. Сало и хлеб с маслом. Сало в шоколаде. Сало с прожилками и просто кусок сала. И ещё, свиное сало полезно для здоровья, доказано медициной. А в больших дозах применяется, как лекарство.

А чем полезно куриное сало? Вот то-то, нет сала у курицы! Нет! А значит и толку от неё мало.

Кстати, Боря самый настоящий еврей. И фамилия у него самая еврейская – Махно.

Вы думаете, что Махно не еврейская фамилия? Так вот, вы ошибаетесь. Фамилия произошла от слова махнѐм. То есть обменяемся. А евреи любят меняться. Квартирами, деньгами, гешефтами, машинами, жёнами, и местом проживания. Это они любят больше всего.

Но если вы не верите, спросите раввина Мордехая, он вам подтвердит, что я прав. Кстати, имя Мордехай произошло от сложения двух слов – «лицо хай», то есть – морда привет. Это я вам точно говорю. Боря работал начальником ЖЭКа №14. Его заработок зависел от качества санузлов. Чем больше они ломались, тем больше Боря зарабатывал. А так как санузлы не выдерживали нагрузок, то ломались каждый день. И Боря зарабатывал тоже каждый день.

И каждый день он выслушивал одно и то же:

– Мы знаем, что ты жид, и твоя фамилия тебе не поможет. Твой нос, твой паспорт. Поэтому вали в свой Израиль. И забирай своих жидов с собой. Из-за таких как ты у нас в кранах нет воды и санузлы не работают. Так и сказали, – нет воды и узлы не работают, и всё это, потому, что Боря еврей! А ведь его могли обвинить и в том, что у них нет счастья в личной жизни. И что на Марсе нет воды, и что во всём виноват Боря. И смертность в стране высокая. И что Ленин еврей. И Сталин... нет, это я так, автоматически

* * *

Всему есть конец, мою черту терпения преступили, и сделали мне больно – закричал как-то утром Боря Махно. Пора вспомнить, кто я есть, и, наконец, хоть перед смертью, пожить по-человечески. В Израиле Борю с фамилией Махно за еврея не приняли.

Работники Моссада спрашивали, потом угрожали, потом пообещали выслать его назад, если он не признается, что батяня Махно был ему прадедом.

Он кричал, что в его семье даже кошки и попугайчики понимали идиш. Он показал, как мозоль издевался над ним, когда ему было всего восемь дней от роду. Увидев, что одна часть Бороного тела принадлежит еврейскому народу, шпионы, то есть разведчики из Моссада, отпустили Борю и попросили поменять фамилию Махно, на Чапаев. Так будет для вас лучше, – сказали они. Боря показал им кукиш.

И назло всем, Боря решил жить по-еврейски. Соблюдать праздники, ходить по субботам в синагогу и не есть свинину. Почему именно свинину нельзя есть, Боря не знал.

Он обратился к раввину Мордехая. Нельзя, – сказал раввин, – нельзя и всё!

Потом он долго говорил, дёргал свою бородку, и признался, что свиное мясо, тоже мясо, и довольно не плохое, но есть его пока нельзя и точка. Но если от этого зависит Бороина жизнь, то есть мясо можно и даже нужно. Только сначала надо спросить об этом Мордехая и тот подскажет, какой кусочек вкуснее и полезнее.

Боря стал почти кошерным евреем. Его жена сообщила всем соседям,

что её жизнь изменилась и наконец, приобрела смысл. Раньше смысла не было. Раньше они просто жили от завтрака и до ужина. Теперь перед завтраком и ужином Боря молится. Он раскачивается, как мачта старой пиратской шхуны и скрипит точно также. Слов молитвы она не понимает, но когда Боря громко произносит аминь, она по привычке смотрит в угол. Но сейчас там иконы нет.

Бабушкину икону они забыли на старой Родине, когда паковали чемоданы. Бороина бабушка была еврейкой. Звали её Ципора. По отчеству Хуновна. А по-простому Ция Хуновна. Бабушка верила в Бога. Она ходила в синагогу и в церковь. И ничего страшного в этом нет. Бог ведь один. Какая разница, где с ним разговаривать. Главное, что бы он услышал. В общем, Бог услышал бабушкины молитвы. Но в спешке что-то перепутал, или наоборот, что-то впервые сделал правильно. Бороиногу дедушку звали Василий Махно. Он служил Богу и был настоятелем церкви Святой Марии, куда ходила бабушка. Там они познакомились. Там перед глазами Иисуса они первый раз поцеловались. Там зачали Бороину маму. Там похоронили дедушку Васю. А бабушку через дорогу, на другом кладбище. Но если громко крикнуть на одном кладбище, то на другом можно услышать. Дедушка с бабушкой никогда не разлучались. Они всегда были вместе.

Бороина мама после свадьбы могла взять фамилию мужа – Рабинович, и избавиться от фамилии дедушки Махно. Но с фамилией Махно она поступила в институт с первого раза. И грамоты получала позже и премиальные. А с фамилией Рабинович ей ничего хорошего не светило.

Пять месяцев Боря учил иврит и ел только куриное мясо. Куриное мясо стоило не дорого, было кошерным и из него можно было приготовить всё кроме компота. Вся остальная мясная кошерная продукция стоила дороже и была кошерным евреям не по карману.

Боря терпел пять месяцев. Сто пятьдесят три дня и ночи. Это же, сколько часов терпел Боря? Нет, я даже считать не буду. А перейду сразу к главному событию.

На сто пятьдесят четвёртый день Боря не выдержал. У него задрожали руки. Ноги стали мягкими, как сало на одесском Привозе, в августе месяце. Боря стал заговариваться. И тогда жена взяла мужа за руку и привела в магазин. Запах чеснока и свиная колбаса на витрине привели его в чувство. Память и зрение стали возвращаться. Жена сказала:

– Выбирай любую колбасу. И сало бери. И кровяную колбасу не забудь. И копченые рёбрышки бери. Бери, что хочешь, меня твой кошрут замучил.

Глаза у Бори разбежались в разные стороны. Они могли бы столкнуться на затылке, но правый глаз увидел, как в магазин зашёл раввин Мордехай и дал команду левому глазу – стоять! Глаз застыл, как вкопанный. Боря шепнул жене: – спрячь меня, Мордехай в магазине!

Жена Дора посмотрела на мужа, и не узнала его. Перед ней стоял ко-соглазый мужчина и дёргал за руку: – спрячь меня, спрячь, Мордехай в магазине.

Недолго думая Дора вцепилась мужу пощёчину. Глаза у Бори вернулись не место. Мордехай исчез в районе молочного отдела.

– Дора, покупай, что хочешь и пошли домой. Только быстро, мне здесь стоять нельзя. Я же верующий, а отдел не кошерный. Что подумает раввин Мордехай?

– Мне на твоего Мордехая... ну, ты понял. Можно подумать мы плохие евреи, а он хороший.

Вот буду стоять, пока Моисей не придёт. Или Иисус. Или Мохаммед. Или твой Мордехай. Я им всё выскажу. И спрошу, почему говядина такая дорогая? Почему рыба стоит, как говядина? Почему помидоры у нас из Турции, а вода из Иордании? У нас что, всё закончилось? Нас что, скоро закроют? И зачем мы сюда приехали? Жили, как люди, ели что хотели, пили сколько надо. А тут Мордехай следят, подсматривают, что покупаем, что пьём и что в унитаз с водой спускаем.

Так, Боря, я сыта по горло этим Израилем. Если ты хочешь, оставайся, а я домой, в Киев хочу.

Девушка, продавец, вы что стоите и слушаете, о чём я говорю? Дайте лучше сто грамм этой колбасы, и этой, и этой, и сала полкило. Да, да! Полкило! Мы пирожные из сала приготовим и Мордехая угостим. И вам принесём.

– Женщина, что вы такое говорите, пирожные из сала, вы лучше колбаску попробуйте, может вам понравится? Это денег не стоит.

– Ой! Что тут пробовать, колбаса, как колбаса. Хотя... вот эту, эту, эту и кусочек буженинки – я попробую. Боря, хочешь колбаски попробовать?

– Дора, мне нельзя. Это же не кошерные продукты. Вот если бы эта булочки была бы кошерная, то я бы, ... а так нет, нельзя. Я же верующий.

– Ой, мужчина, и что вы такое говорите, попробовать – это же не кушать. Главное не проглотить. Глотать нельзя. А попробовать можно, это же не кушать.

– И кто вам такое сказал? Может раввин Мордехай? Вы, девушка, вот крестик на шее носите, вам всё можно, а у меня крестика нет, мне многое нельзя, – ответил Боря.

– Мужчина, так вы крестик одените, и тогда вам всё будет можно. Вы хоть во время еды одевайте, а потом снимайте.

– И тут Боре стало действительно плохо. Он размяк и как переспелая помидора шлёпнулся на пол:

– Девушка, это вам тоже Мордехай посоветовал?

– Какой Мордехай? Это раввин, который только что пробежал мимо? Да что он может посоветовать? Что он в своей жизни кроме курицы и мацы ел? Деревня ваш раввин, чистая деревня.

– Вы моего раввина не трогайте, вы, вы, да как вы можете? Крестик одели значит вам всё можно? Он святой человек! Он мой наставник! Дора, пошли отсюда, мы здесь ничего покупать не будем!

Пусть сами своё сало кушают. А я не буду. Не для этого я в Израиль приехал. Дора на ходу схватила пакетики с колбаской:

– А для чего, Боря? Для чего? Ты меня пугаешь Боренька. Дай я твой лобик потрогаю. Может ты заболел?

– Трогай себя, где хочешь, а я здоровый. Пошли...

Дома пакетики с колбасой заняли своё место в холодильнике. А Боря не находил себе место. Он ходил мимо холодильника туда, сюда, туда, сюда. Его рука тянулась к двери, но он отдёргивал её. А Дора, как-будто специально, каждые пять минут подходила к холодильнику и что-то оттуда брала. Запах колбасы вырывался наружу и, минуя кухню, гостиную и коридор, по лестнице забирался в соседние квартиры. Люди не могли нормально думать, отдыхать и смотреть телевизор. Крик – кто кушает свиную колбасу, разносился по дому. Домовой комитет начал обходить квартиры в поисках источника запаха. Были вызваны полиция, взвод десантников и один танк. Вертолёт кружил над домом.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу объявил в стране

военное положение. Президент США Барак Хусейнович Обама самостоятельно позвонил Биньямину и спросил:

– Шалом, бридер Бенья! В чём дело, что у вас за хойших, почему такой переполох?

– Обамчик, ша! Пусть будет ша! Ничего у нас не переполох. То Боря Махно и его мишигиная жена Дора купили свиной колбасы и положили её в холодильник. Так там такой запах, такой... мы подумали, что это Иранцы нам химическую войну объявили. Ты не волнуйся Обамчик, не переживай, всё будет хорошо. И позвони Володе, успокой его. А то он сейчас сдуру ракеты запустит. Нам сейчас базара с русскими не надо. А с Борей мы поговорим. И с Дорой, и с Мордехаем. Может тебе их прислать? Пусть немного в Америке поживут. Нет? Ну, как скажешь, тебе виднее. Привет твоей жене Мишель, скажи ей, что моя Сара приглашает её в гости. Пусть и Володину жену прихватят, Ахмадинежадову жену звать не надо. На кой она нам...

– Слушай, Бенья, а Лукашенко присвоил батьке Махно звание героя Украины. Твой Боря с этим батькой не родственник?

– Обамчик, та какой он родственник. Его фамилия по папе Рабинович. Слышишь, Рабинович.

– Ой, Бенья, ой не могу! Рабинович... ну, вы евреи даёте.

Вот такая история. Ну? И как она вам? А ведь всё началось так хорошо. Я вот думаю, кто же во всём виноват, что так получилось? Может быть Дора. А может быть Боря? Да и Мордехай тут замешан кое-где. Может быть я виноват? Хорошенькое дело получается! Да и вы не ангелы. Слушали, слушали и ни разу не перебили. Неужели поверили, что не пригласят Ахмадинежадову жену? Поверили, поверили. Во всё, что абсурдно, верится легко. А кто поверит в правду?

А я вот думаю, что во всей этой истории виноват только я. Перебрал я немного. Особенно с Махмудом Ахмадинежадом. Вот если бы его не было, то история получилось бы что надо. А так...

Да, кстати! Боря и Дора колбасу из холодильника не выбросили. Соседи зашли, домовый комитет, два десантника, чёрный полицейский Джон Смит и танк. И всё подчистую съели.

Добро выбрасывать нельзя, особенно сейчас, когда кризис – сказала Дора.

Хотел Боря и Мордехая пригласить, но тот отказался. Сказал, что улетает в Германию, там у него дело есть. Интересно, какие дела могут быть у Мордехая в Германии. Может и мне полететь с ним,.. а что, мысль хорошая.

НУ, А ЧТО ДАЛЬШЕ ...

Эту маленькую глиняную статуэтку подарила мне женщина из Израеля.

Подарила и сказала:

– Эта статуэтка сделана по картине Марка Шагала. Я думаю, скорее всего, он не был художником, он был волшебником. Я никогда не видела скрипача, играющего на крыше дома. А теперь мне кажется, что весь мир играет на крышах домов. У Шагала всё играет и движется. У него ничего не стоит на месте, его картины не имеют времени.

* * *

Моя мама рассказывала, что у них в местечке был мальчик, который играл на скрипке, но не на крыше дома, а во время расстрела евреев в небольшом овраге у реки.

Последним расстреляли его. Маме удалось спастись, но она каждый день напевает ту мелодию и плачет.

Я посмотрел на статуэтку. На крыше домика сидел скрипач и играл на скрипке.

* * *

Мойшеле зайди в дом, – я тебе уже сто раз говорю, слезь с крыши и зайди в дом, или ты меня не понимаешь? Так ты так и скажи своей маме, – мама, я тебя не понимаю, и всё. И я пойму, что ты мишигенер. Это же надо иметь такую привычку – залезть на крышу родного дома и играть на скрипке. Если бы твой папа дожил до сегодня, он бы поломал эту скрипку у тебя на глазах. Зайди домой, горе моё, мне ещё не хватало, чтобы ты упал на свою голову. А вы что смотрите? Это вам не кино–, и тётя Цилиа замахнулась полотенцем, вечно висящем у неё на плече: – А ну, по домам, босяки, уже поздно.

Но мы стояли у старого покосившегося забора и заворожено смотрели на нашего друга Мойшу. А он сидел на крыше дома и дрожащим смычком прикасался к струнам маленькой скрипки, и она издавала волшебные звуки. Скорее всего это была не мелодия, и скорее всего это играла не скрипка, а сердце нашего друга Мойшеле. А он, закрыв глаза, шевелил губами. До сих пор не знаю, о чём пел мой друг. Но он пел, он произносил слова, а его мама, спрятавшись за дверь, плакала и вытирала слёзы всё тем же полотенцем, висящим у неё на плече. Мамы просто так не плачут, значит, она знала, о чём поёт её единственный сын Мойшеле. Её и так больное сердце в это время болело в два раза сильнее.

А мы, его друзья: – Янкеле, Клара, Береле, рыжая Сонечка, толстенькая Берточка, Наум стояли и радовались за нашего друга, который так хорошо играл на скрипке.

Да, меня зовут Эйнех – Эдик. Друзья прозвали меня Эйнех де кукла. Наверное, это потому, что я был красивым мальчиком. Так решила моя бабушка. Она говорила: ты красивый, как а большая кукла. А Мойшеле прозвали – Мойше фиделе (скрипка). А Наума – пуриц. Сонечку – лейках. Яника – шмаркетыня. Он постоянно был сопливым и шмаркался. Клара, наша Кларочка: – говорили, что она станет балериной. Так её и прозвали, Клара – балерина.

Мы не дружили, мы не знали, что такое дружба. Мы жили одной большой семьёй. Тем более, в местечке все давно переженились и приходились друг другу родственниками. Мы отвечали друг за друга и жили счастливо. С тех пор, как у Мойшеле появилась скрипка, это папа подавал ему перед тем, как отправится на небо, он каждый вечер забирался на крышу и что-то играл. Наверное, для того, чтобы папе было лучше слышно.

Наше детство прошло быстро. Двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года в воскресенье в обед...

Мой папа забежал домой, посмотрел или все на месте и громко сказал: – Всё! Я так и знал! Война! Вы слышите, война!

Потом он сел и замер. Мама поставила на стол тарелку, налила суп и сказала:

– Иди кушать. Война закончится раньше, чем ты пообедаешь, у нас же есть Красная Армия. Или её нет?

Папа посмотрел на маму, встал, обнял её:

– Есть, у нас всё есть, и Армия есть, и вы у меня есть, а уезжать надо.

Местечко опустело быстро. Немцы наступали и нашу армию почти не встречали, и вот – вот могли появиться на нашей улице.

Последними уходила наша семья. Папа считал себя ответственным за всех евреев и обошёл все дома, чтобы убедиться, евреев в местечке нет.

Те, кто не считали себя евреями, закрылись в подвалах в ожидании чуда. И чудо пришло через несколько часов со свастикой на флагах и начало творить чудеса.

Проезжая мимо дома моего друга Мойшеле, я услышал знакомую мелодию.

Мой друг сидел на крыше и играл. Мой папа остановил лошадь:

– Мойшеле, сходи вниз. Скажи маме, что нужно уезжать. Где мама, почему её нет?

Но Мойшеле играл, а мамы не было.

Я тоже стал звать моего друга. И побежал к дому. Но папа схватил меня за руку и посадил на подводу:

– Нужно ехать, сынок. Мы не успеем. А Мойшеле нас догонит. Он только дождётся маму.

Но мой друг нас не догнал. А его мама лежала на деревянном полу и просила моего папу взять с собой её сына. Её брать не надо, ей осталось жить не долго. А вот Мойшеле ещё маленький, и ему жить и жить. Она кричала Мойшеле, чтобы он перестал играть и слез с этой проклятой крыши.

Но никто не слышал её слов. И вскоре она перестала шевелиться.

А Мойша, закрыв глаза, играл и не увидел, как в местечко вошли немцы. Они подошли к дому, где на крыше сидел мой друг и стали слушать волшебную музыку. Один солдат бросил музыканту шоколадку. Другой достал губную гармошку и стал подыгрывать.

А через два дня в местечко вернулись беженцы. Единственный мост через реку был кем-то взорван, и бежать было некуда.

Нам повезло. Нас подобрала машина, и мы успели переправиться на другой берег реки.

Потом папа ушёл на войну, а нас с мамой отправили далеко в тыл. С войны папа не вернулся, и мама вышла замуж за дядю Лёню. Он был начальником на каком-то заводе. Потом мы переехали в Москву. Дядя Лёня

стал очень большим начальником. Ко мне и моей сестричке он относился хорошо. Мы были сыты и обуты. Мы учились в школе, потом в институте. Потом дядя Лёня умер. И только тогда нам стало ясно, что мы его любили, что он был нам настоящим папой. Но сказать ему об этом мы не успели.

Все эти годы мы с сестрой вспоминали наше местечко. Мы знали, что никто из наших друзей в живых не остался.

Но меня тянуло на родину, и я решил – ехать надо. Добрался я до местечка к обеду. Когда подошёл к нашему дому, слёзы полились сами собой, без спроса.

Я стоял, смотрел на дом и слышал, как играла скрипка. Эту мелодию я не забуду никогда. Так мог играть только Мойшеле. Но чудес не бывает. Мойшеле в живых больше нет, так говорили люди, которых я расспрашивал сразу после войны о нашем местечке.

Я решил пройти по улицам и навестить могилы моих друзей. Прохожий объяснил мне, где находится братская могила, и я направился туда. Но меня всё время сопровождала мелодия скрипки, которую я помнил с детства.

И вдруг, странный звук пронёсся над местечком, как – будто кто-то пытался играть на скрипке.

– Мойшеле – закричал я и побежал к его дому. Звуки скрипки становились громче и громче, и наконец, я увидел Мойшеле. Маленький, седой, в старом ватнике, он сидел на низенькой скамеечке и, закрыв глаза водил смычком по струнам.

Мойшеле, Мойшеле, – это я, Эйнех, ты меня не забыл?

Мойшеле открыл глаза, посмотрел на меня, и как ни в чём не бывало, спросил:

– И что у тебя слышно? И как дела?

Я не знал, как вести себя дальше. Мне хотелось обнять друга и говорить с ним, а он смотрел на меня и ждал ответа на свой вопрос: – что у меня слышно?

– Мойшеле, у меня всё хорошо, я приехал в гости. Хочу навестить Янке, Клару, Береле, рыжую Сонечку, Берточку и Наума. Как у тебя дела, Мойшеле?

– У меня? У меня всё хорошо. Я один остался. Вот скрипка у меня есть. Она вчера ещё играла, а сегодня нет.

И он пальцем коснулся струны. Тонкий режущий звук пронёсся над местечком.

– Эйнех, идём, я проведу тебя к нашим друзьям. Они ждут тебя.

Он с трудом встал и, прихрамывая, пошел впереди, показывая дорогу. Не доходя до братской могилы, он остановился:

– Иди, Эйнех, иди сам, я тут подожду. Я вчера с ними разговаривал. Они тебя ждут.

На памятнике сияла покрашенная свежей краской красная звезда. Среди многих фамилий, я прочёл имена моих друзей:

– Янкеле, Кларочка, Береле, Сонечка, Берточка, Наумчик, – это я Эйнех де кукла. Я пришёл навестить вас. Я вас не забыл.

– Спроси, спроси, что у них слышно. Они мне не отвечают. Скажи, что я пришёл с тобой. Скажи...

– Ребята, Мойша со мной. Хотите, чтобы он вам сыграл на скрипке? Хорошо, он сыграет. Мойшеле, играй, ребята просят.

Мойша попытался что-то играть, но у него ничего не получалось. Он водил смычком по струнам, но ничего, кроме странных звуков, скрипка не издавала.

Играй, скрипка, – кричал Мойшеле, – играй, я тебе говорю, – ребята попросили.

Но скрипка не играла. И тут я заметил, что на скрипке была всего одна струна.

– Играй скрипка, играй, – просили мы с Мойшей – и скрипка заиграла. Мойшеле водил смычком по одной струне и странные, волшебные звуки, как тогда в детстве, поднимались в небо к нашим друзьям.

Расставался я с другом почти без слов. Обнял его, попросил не болеть и жить, как можно долго. Дал ему денег на новые струны для скрипки и пообещал навестить.

Он тоже сказал, что приедет в гости. Только никак не мог запомнить название города, где я живу. Переспрашивал, переспрашивал, а потом сказал:

– Иди, иди, Эйнех, тебе домой нужно.

И я пошёл. Тонкий, режущий звук одинокой струны, сопровождал меня до самого вокзала.

ХОРОШЕНЬКОЕ ДЕЛО ПОЛУЧАЕТСЯ

Кто-то сказал: «Человек живёт не для того чтобы только есть. А ест, для того, что бы жить».

Хорошенькое дело получается – не поел человек, значит умрёт. А поел – будет жить.

А вот если я хочу хорошо поесть и пожить, то тогда как? Неужели хорошо жить приравнивается к самоубийству?

Моя жена всё время твердит: это не кушай, это не пей, а это жирное, а это тебе нельзя, не хочешь меня слушать, делай, как понимаешь.

Хорошо, я послушаю жену:

– Кушай гречневую кашу. Ешь только чёрный хлеб. Овощи, овощи кушай. Мясо варёное, тебе полезное, и пареные котлеты. Не кушай жареное. Не бери белые свежие булочки. И сахар не бери. И водку забудь, и пиво. Шашлык только на картинке тебе можно. И к мангалу забудь дорогу. Не забудешь, то забудешь дорогу к нам в спальню. Мне здоровый муж нужен. Понял?

Вот такие дела. Ей, видите ли, здоровый муж нужен. А как от пареных котлет станешь здоровым? Как без мангала можно жить? Без друзей? Без шашлыка и помидоров на шампуре? Может быть, вообще жить не надо?

Вот дела...

А может быть жену поменять? А что, идея хорошая. Сейчас напишу ей прощальное письмо и пойду искать молодую, понимающую толк в жизни женщину...

ПИСЬМО

Дорогая бывшая жена! Пишет тебе твой муж. Ухожу я от тебя к женщине, которая знает толк в жизни. Которая не будет закрывать мне рот, и приказывать, что кушать, а что нет. А я не хочу себе отказывать – вкусно поесть. Хочу молоки жареные! Хочу рататуй! Хочу картошку, жареную с ливерной колбасой. Хочу индейку, цыплят в вишнёвом соусе, гуся с тушеной капустой, перепёлок. И всё это запить холодной водкой, вином, пивом и квасом. Хочу жить!!! На черта мне твои диеты.

Прощай, жена. Передавай привет тёще моей, Циле Абрамовне.

Петя.

* * *

И началась у меня настоящая жизнь с настоящей женщиной. Встретил я её на дне рождения моего друга Толика. Довольно крупная женщина с улыбкой Джоконды сидела за столом и наслаждалась молочным поросёнком. Увидев меня и мои глаза, она одним ударом разломила поросёнка и протянула мне меньшую половинку:

– На, бери, кушай, мне не жалко. Тут ещё есть...

Взял я половинку поросёнка, открыл рот, аж в ушах щелкнуло, ... задумался я, что же это щёлкнуло? А-а-а-а! Поросёнок-то, не кошерный, вот что щелкнуло.

Говорю об этом женщине с улыбкой Джоконды.

А она:

– Ой, можно подумать, какие мы культурные, какие мы грамотные, не хотите, пейте Боржоми.

Но на столе была вода из-под крана. Простая вода, без заморочек.

Не успел я выпить глоток воды, как моя половина поросёнка, исчезла в животе женщины с улыбкой Джоконды.

Нет! И это не та женщина. И это не та еда. Может к жене вернуться? А что, идея хорошая, сейчас и вернусь...

Вернулся. Лучше бы не возвращался. Вспомнила она мне и поросёнка, и женщину с улыбкой Джоконды, и маму свою, Цилю Абрамовну, не забыла.

* * *

Кто-то сказал: Человек живёт не для того что бы только есть. А ест, для того что бы жить. Хорошенькое дело, получается, оказывается, не всё можно есть. И не еда портит человека, а человек еду.

ПЁТР ИВАНОВИЧ

Куда ехать, спрашивал Пётр Иванович жену и детей сто раз в день?

И сам отвечал:

– В Америку? Там чёрные. В Германию? Там же немцы, мы же с ними воевали. В Израиль? Я что, идиот? Меня же там за человека считать не будут. Нос у меня, как картошка. Сразу поймут-кто я.

Надо ехать в Канаду. Там климат хороший, природа, русских много, я на охоту ходить буду.

Но дети решили, и Пётр Иванович оказался в Израиле. Соне, его жене, было всё равно, куда ехать. Главное, что бы рядом были дети и внуки. И, конечно, Петя – её любимый муж. Когда они познакомились, он был лейтенантом, она студенткой. Узнав, что Пётр не еврей, мама устроила ей концерт. Она вспомнила бабушку, прабабушку, и упрекала, что у всех мужья были евреи, а как же теперь она посмотрит людям в глаза. Стыд – то, какой! Зять – лейтенант, да ещё и не еврей!

После пяти придуманных скандалов и несерьёзных обмороков мама дала согласие. Молодые женились и уехали на Китайскую границу, где лейтенант нёс службу. Первого внука бабушка увидела, когда ему было пять лет. Второго она не увидела, но знала по письмам, что он похож на неё. Потом новые назначения. Соня привыкла, что у неё муж военный и никогда не жаловалась на тяготы жизни офицерской жены. Единственное, к чему она привыкнуть не мог, так это к оружию. Пётр приходил домой, снимал кобуру и садился ужинать. А Соня прятала пистолет на шкаф. Мало ли что, дома ведь дети. Оружие Соня ненавидела.

Службу Пётр закончил полковником на Украине. Пенсионером он быть не хотел. Возил внуков на футбол и плавание. Вставал рано утром, делал зарядку. В воскресенье, за завтраком, он любил выпить сто грамм водки и закусить варёной картошкой и селёдкой. Теперь всё это он делал в субботу. Оказалось, что у евреев воскресенье – это суббота. Пётр Иванович знал, что его жена еврейка, но никогда не вникал, что это такое – быть еврейкой. Ничего нового в его семейной жизни не произошло. Жена, как командовала им на старой Родине, так и командует на новой. И он охотно ей подчиняется. В Израиле Петру Ивановичу нравилось.

– Солнце, море через дорогу, базары, все друг друга знают, делай что хочешь, не жизнь, а малина, – говорил он.

Иврит оказался не таким сложным. Пособия ему с женой хватало. А тут ещё с соседом повезло. Местный палестинец Джамаль учился в Москве. Там он женился и русский язык знал неплохо. Жена Джамалья наполовину была еврейкой, хотя наполовину еврейкой быть нельзя, это знают все, жена Джамалья говорила, что сердце её делится на две части – одна половина скучает по России, а вторая не может жить без Израиля.

Жили они хорошо. Как все, иногда ругались. Но только на политической основе. Она ему говорила, что все арабы террористы, а он ей, что евреи не лучше. Она ему, что их дети евреи, а он ей, что арабы. Пока они ругались, сын Давид вернулся из армии. А дочка Мирьям ушла служить.

За чашечкой душистого мятного чая Джамаль пытался объяснить Петру Ивановичу, что одна половина его сердца понимает, что дети должны служить Израилю, ведь это их Родина, а другая половина сердца говорит Джамалю, что лично у него Родины нет. Хотя нет, она есть и совсем рядом, за колючей проволокой, но лучше что бы дети служили Израилю, чем... нет, он действительно ничего не понимает. Может быть, когда-нибудь наступит время и у палестинцев и Израиля будет одна общая армия. Но он до этого дня он не доживёт.

Пётр Иванович успокаивал соседа:

– Джамаль, придёт время, и мы с палестинцами будем сидеть за одним столом. У вас и у нас за спиной море. Нам отступать некуда. А Моисей, так скоро не придёт. И Магомет не придёт.

Иногда на арабские праздники Джамаль приносил сладости, а Пётр на новый год звал соседа в гости, но тот отказывался. Так и жили. Каждый со своими проблемами и радостями.

И может быть, дождались бы пророков, но недалеко от их дома молодой араб подорвал себя на автобусной остановке. Погибло много людей. Они ждали автобус, разговаривали, смеялись, и не обратили внимания на человека с рюкзаком за спиной. Потом такие взрывы были слышны по всей стране. Мир между арабами и евреями разделил рюкзак на спине.

После взрыва Джамаль несколько дней избегал встреч с соседями. Потом опять приветствовал – «Ас-салям алейкум!»

Пётр Иванович отвечал «Ва алейкум ас-салям!»

Больше всего Джамаль избегал встречи с Соней. Но, встреча состоялась. Он улыбнулся:

– «Ас-салям алейкум!». Мир вашему дому.

Не поднимая головы, Соня ответила – шалом!

Петру Ивановичу надоела спокойная жизнь, и он решил заняться полезным делом. Он стал сотрудником охранный фирмы. Охранял Пётр Иванович вход в большой торговый центр. Оружия ему не выдали. Сказали,

что дадут позже, и пока тянулась процедура с оформлением лицензии, он приобрёл газовый пистолет. Какое ни есть, а оружие, – сказал он.

Пётр проверял сумки, кульки и всё, где можно было спрятать бомбу.

Дежурить возле магазина было не тяжело. Работники магазина уважительно относились к Петру Ивановичу. Постоянные покупатели здоровались с ним, он узнавал многих из них, но всё равно проверял сумки. Никто на него не обижался. Сегодня в магазин пришли Джамаль с женой. Увидев Петра Ивановича, Джамаль подошел, и сказал: – «Ас-салям алейкум!» и раскрыл сумку. Пётр сделал вид, что тщательно ищет что-то, а сам ответил:

– Ва алейкум ас-салям Джамаль. Сегодня вечером приходи пить чай. Я буду ждать тебя, и жену не забудь. Соня очень просила.

Проверяя очередного покупателя, Пётр обратил внимание, на парня, который суетился на стоянке машин. Тот что-то кричал, потом вытащил какой-то предмет из кармана, и направился к магазину.

Петр Иванович не испугался. Он просто не был готов к случившейся ситуации. На курсах по подготовке охранников было всё иначе, там не было живых террористов, а тут... он направился навстречу парню. Увидев охранника, тот вильнул в сторону стоянки машин.

Краем глаза Пётр увидел направляющегося к входу магазина мужчину с рюкзаком. Петру Ивановичу всё стало ясно, – террорист на стоянке машин должен был отвлечь его, увести от входа, а второй террорист взорвёт себя в магазине. Пётр закричал:

– Держите его! У него бомба...

Пётр Иванович не бежал, а летел по воздуху. Он вспомнил о пистолете, вытащил его и стал стрелять, но террорист не падал.

У входа началась паника. Стоящие на улице солдаты побежали за охранником, заряжая автоматы. Пётр догнал террориста почти у входа и всем телом навалился на него.

Он слышал, как что-то кричал Джамаль, выстрелы. Террорист пытался сбросить его. Что-то кольнуло в сердце... Падая на асфальт, Пётр Иванович увидел, как Джамаль наклонился над ним, как будто хотел прикрыть его своим телом. Где-то выла сирена скорой помощи...

Пётр Иванович увидел белые стены и врача, который открывал и закрывал рот, но слов не было слышно. И чего он так раскричался, подумал Пётр Иванович, у меня же ничего не болит.

Потом он увидел своего соседа Джамала. Они стояли на берегу моря:

– Джамаль, вот видишь, нам отступить некуда, да и незачем. Скоро наступит мир, и мы будем сидеть за одним столом.

Навстречу им по воде бежала Соня и стреляла в воздух из «Беретты».

– Сонечка, не стреляй, это я, твой муж, а это наш сосед Джамаль, – кричал Пётр Иванович.

Через неделю Петра Ивановича выписали домой. Врачи сказали, что он здоров и может делать что хочет, только ему нельзя волноваться.

Вечером дома собрались дети и внуки. За столом поднимали тосты за папу, за Израиль, за маму.

Пётр Иванович был счастлив. Потом он встал и вышел. Через несколько минут вернулся с Джамалем и его женой. Место нашлось всем. Квартира Петра Ивановича большая, а Израиль ещё больше, и всем места хватит. На дежурство Соня мужа больше не пустила. Вернее не хотела пускать, он сам вернулся, и Джамала взял с собой.

Нора Гайдукова

УТРАТА

после чтения книги «Скрипач из гетто»

Когда я вижу немцев пожилых,
невольно ощущаю я смятение.
Евреев, что погибли среди них,
мне чудятся страдальческие тени...

Ах, это всё фантазии мои.
Те немцы, может быть, не виноваты.
Но что-то снова омрачает дни,
как будто близких вечная утрата

ЦФАТ

Кошачий город Цфат.
Утешься розами.
Несут порывы ветра терпкий запах.
Настурция алеет, –
Напиток горький жизни
Вином запей кошерным сладким.

Бессмертны кошки Цфата.
Загадочные мини-кабалистки.
Не в них ли
Переселились души мудрецов?

Раввин великий
Сном спокойным спит

И охраняет на горе Мирон
Он город молчаливых иудеев.
В одеждах чёрных тех
Их дети не глядят на посторонних,
Как будто их не видят.

Два мира в Цфате
Не смотрят друг на друга.
Мир дневной, пронизанный
Томительными запахами сосен
И цветов,
Где даже днём услышишь соловьёв.

Шоссе, машины, рынок –
Суетливый туристский рай
С обильем декораций.
Галереи – картины беспомощно
Пытаются быть зеркалом
Дневного и ночного мира,
Увы, но это невозможно.

Мир ночной не поддаётся
Вашему сознанию.
Темны одежды, переплёты книг,
Могилы мудрецов,
Тфиллины, свитки Торы.
И лабиринты снов.
Закрытый мир Закона,
Шесть тысячелетий
Ведущего народ
Из нового египетского плена.
Мессии тень над всеми
И мёртвые из плена восстают...

Переплетенье Дня и Ночи,
Добра и Зла.
И Вечности покров.

Марлен Глинкин

КТО ЕВРЕЙ И ПОЧЕМУ ПАНИКА?

В России евреев уже мало, а антисемитов еще много. Поэтому ключевой вопрос антисемитов: кого считать евреем? Но считать антисемиты умеют плохо. И на всякий случай считают евреями всех, кто не сумеет доказать, что он не еврей. Дескать, все кругом еврей, либо в родстве с ними, либо предка в четвертом колене звали Яшей, а это уже подозрительно. Если ты действительно не еврей, то представь документ, что ты не еврей и закрой рот свидетелям, которые видели в бане, что ты еврей.

Если с точки зрения антисемита посмотреть на Израиль, то там евреев много, и становится еще больше.

Кому-то даже кажется, что их слишком много. И поэтому ключевой вопрос тот же: считать приехавшего евреем или не считать? А если считать – то как?

На всякий случай решили считать евреями всех, кто сумеет доказать, что они евреи. Чувствуете разницу? Там доказывай, что ты не еврей, тут – что ты еврей. И, если ты действительно еврей, то представь документ, потому что твой единственный, неоспоримый аргумент, который свидетели видели в бане, к делу не приложишь. Поэтому нужна справка о том, что бабушка твоя была Фрида, хотя и записана Федорой в целях конспирации, либо два свидетеля, которые видели, как тебя не принимали на работу, не пускали за границу и били в лицо, приговаривая: «Жидовская морда!»

Кого же все-таки считать евреем? Если верить антисемитам – еврей, это те, кто съедают все продукты.

Но, если так, то в Израиле вообще нет евреев. Потому что там едят очень много, а съесть все никак не могут.

Антисемиты утверждают, что евреи – это те, кто устроились профессорами и поэтому не подметают улицы.

В Израиле евреи – это те, кто устроились подметать улицы и поэтому не работают профессорами.

И такая путаница – кто все-таки еврей, что разобраться в этом не могут ни евреи, ни антисемиты. И все же, еврей – это всякий, кто ступил на грудную, опасную и благословенную землю Израиля, потому что, приехав туда и полюбив эту страну, каждый становится евреем, даже если раньше он просто считался им!

А в России из-за всего этого – паника! Идет утечка мозгов.

Причем, мозги утекают вместе с головами, в которых они хранятся, а из физики мы знаем такой закон: если в одном месте что-то утекает, значит в другом – это самое что-то притекает.

В Израиле притечка мозгов! Там их нынче столько, что шагу ступить нельзя, чтобы не наткнуться на мозг!

Сплошные мозговые извилины, запутанные, как правила абсорбции. Если бы в мире проводился конкурс на самых образованных дворников – евреи были бы вне конкуренции.

Мозги сталкиваются в борьбе за почетное звание посудомоя, где само наличие мозгов необходимо, как хромота невесте.

Мозги сталкиваются, и от столкновения получается сотрясение мозгов. Зато страна может этим гордиться! Страна гордится мозгами, стекающими в нее по трапу самолета!

Этим мозгам предстоит изменить облик страны. Но только в том случае, если ими перестанут гордиться! И начнут их использовать по назначению.

Конечно, и страну можно понять... Кто же думал, что у евреев столько мозгов?! А мозги все текут и текут...

И очень нужно, чтобы они не протекали, как вода сквозь песок и чтобы не спрямлялись извилины. И чтобы серое вещество, оставаясь серым, рождало весь яркий спектр красок, все восхитительное многоцветье израильской жизни.

Это нужно мозгам. Это нужно стране.

БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК

Боря Трахман в прошлой жизни был большим человеком... Его обширным связям могли бы позавидовать профессора и академики. Он очень тонко разбирался во многих вещах... и, особенно, в женщинах, чем оправдывал свою фамилию.

Денег, как и женщин, у него всегда было очень много, но и те и другие были «чёрными».

Встречаясь с очередной женщиной, он всегда повторял почти один и тот же джентльменский набор слов...

– Ну, что ты смотришь на меня испуганно? Глупенькая... Ну, расслабься, слышишь? Вот так, умница... Хорошо? Ах, какие у тебя глаза! Ну, просто кричат.

А ты не кричи, красавица моя. Увидишь, тебе будет хорошо... никогда не пожалеешь, что послушала меня и пришла. Ты мне веришь? Вот и умница...

Ну, успокойся, успокойся... Ох, кожа-то у тебя какая нежная... Ну, я аккуратненько, не бойся.

Не надо меня бояться. Если тебе, не дай Бог, будет больно, я это сразу почувствую – по твоим глазам, по твоим рукам, по твоим ногам...

Все будет хорошо, еще капельку... Вот тут, так, глубже, еще глубже. Я почему-то никак не могу достать... Давай ещё разочек... не напрягайся! Господи, да ты взмокла вся, ну ещё немножко... Так, давай шире. Вот – вот – вот... Сейчас должно быть хорошо, правда? Лежи спокойно... Та – а – ак, молодец!

И, повернув голову, он утомленно проговаривал:

– Сестра, готовьте пломбу, будем зуб закрывать!..

Вы догадались? Большой человек, Боря – был стоматологом. Но, кроме связей и женщин, ему не было равных в длине отдельных частей тела. Имелся в виду его нос. Когда на улице он стоял в профиль, то носом переламывал уличное движение, а когда стоял в анфас – вроде бы указывал народу путь. Какой путь народ избрал – известно, так что, если у кого были претензии, они могли предъявить их Боре.

В конце концов, ему это надоело и, сказав: «нам из этой жизни жи-

нам не выбраться» он эмигрировал с семьей в Берлин. Жена ворчала, шулки пылаи...

– Дорога – это тоже жизнь. Радуйтесь дороге! – успокаивал их Трахман-старший. – Да, мы с вами сейчас в дороге. Мы спешим в туманное будущее, к манящему благополучию, к призрачному богатству...

А за окнами поезда проносились солнце, поля, леса, цветы, женщины... Но он их тоже не видел. Он летел вперед, в страну побежденных-победителей. Он воспринимал эмиграцию, как суровую необходимость, где день засчитывается за два, как в зачётном лагере. И вот – Берлин. Нет работы, нет женщин, а есть старость и социал.

– Ты не жалеешь, что приехал в Берлин? – спрашивали соседи по «халуму»

– Не жалею.

– А тебе хорошо?

– Как мне хорошо, так мне и надо!

Мучаясь от безделья, Боря стал посещать эмигрантские тусовки, стараясь, чтобы жизнь не уходила в пар.

Он приобщился к лагерю оппозиции в еврейской общине. Вместе со всеми возмущался и требовал равенства всех евреев, переживших Катастрофу. Но когда стали собирать подписи под петицией, он, как и многие, не подписал бумагу. Страх из прошлого не изжил.

А всё потому, что в прошлой жизни, много лет его приучали к стадности. Тем, кто высовывал голову – её рубили. Поэтому он, как и многие, до сих пор жил с головой, повернутой назад.

В еврейском научном обществе Борю не устраивало, что все были сплошные профессора и академики, лауреаты всех мыслимых и немыслимых премий, и только он имел одну, подаренную природой «шнобелевскую» премию. В клубе ветеранов войны оказалось, что не только Боря и Жуков брали Берлин, но и добрый десяток других доблестных воинов-членов клуба. Причем, почти все водружали Знамя Победы над Рейхстагом и чуть-чуть не стали Героями Советского Союза. «Я устал от стада, – говорил Боря, – я перехожу в новую формацию, где хочу побыть одиноким волком»

На банкете в честь Дня Победы «одинокий волк» глядя, как герои войны, лязгая своими вставными челюстями, бросились в «атаку» на

трапезные столы, почувствовал себя одинокой овцой из распадающегося стада. Тогда Боря принял решение – уйти из жизни. За свои 67 лет он восемь раз уходил с работы, шесть раз – от жены и два раза – от уголовной ответственности.

У здания еврейской общины он обратился к полицейскому:

– Вы не можете мне одолжить пистолет на 10 минут? Полицейский испугался, и стал вызывать подмогу.

Тогда Боря пошёл в аптеку и на ломаном языке, путая немецкий язык с идиш, спросил у молоденькой продавщицы:

– Сегодня яду не привозили?

Продавщица испугалась и убежала в подсобку. Грустный Боря сел в автобус и выехал на мост через Шпрее.

«Прыгнуть, что ли?» – подумал он.

Вокруг шли парочки и отдельные озабоченные люди, и Боря решил: «не буду потакать низменным вкусам толпы».

Он ушел с моста и, проходя по Фридрихштрассе, увидел небольшую парикмахерскую.

«Постригусь... и повешусь», – решил он и вошел.

Приехав домой и, увидев, что жена ушла к детям, снял с балкона бельевую веревку и почти уже повесился перед входной дверью, но старая веревка оборвалась.

Боря упал и умер от сотрясения мозга.

Вот так обычно и бывает в эмиграции: хочешь сделать как лучше, а получается, чёрт его знает что.

Дина Езриль

В ПУСТЫНЕ МЫ...

В пустыне мы... Опять в пустыне...
И сорок лет опять блуждать.
Пока в нас память не остынет
И с прошлым не прервётся связь.

Пока мы помнить перестанем
Покинутого рабства край
И с сердца камень потеряем,
Вкусив освобождённый рай.

В пустыне мы... Опять в пустыне...
Без пастыря-поводыря,
Ослепшие от боли и обиды –
В нас зрячими остались лишь сердца.

Идём мы не к Земле Обетованной,
Как наши пращуры, а кто куда,
Чтоб уголок найти, душе желанный,
Пока не стала адом вся земля.

ЕВРЕИ КОТТБУСА

Евреи Коттбуса! Где вы?
Где вы?.. Что с вами случилось?
Жили вы в этом городе?
Или всё это приснилось?

Есть имена и даты:
Рождения и смерти.
Время рождения разное –
Смерть принимали вместе.

Аушвиц и Майданек
Вас заполучили...
Там вы умирали –
В Коттбусе вы жили.

Но в старых домах, на улицах,
Эту войну переживших,
Незримо живут ваши души,
Помнят ещё ваши лица...

Снова евреи в Коттбусе –
Пришли на смену ушедшим,
Чтоб оживить их души,
Чтоб воскресить их лица...

АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН

Альберт Эйнштейн!
Грустны твои глаза...
Во многом знании
Всегда печаль жива...

Вмещал Вселенную
Твой ненасытный мозг.
Но с духом Ненависти
Справиться не смог,

Который скомкал жизнь,
Как черновой листок,
И уволок в свой
Дьявольский поток...

И разделив судьбу
Народа своего,

Ты был гоним,
Неведомо за что...

Уходит в прошлое
Жестокий век,
Не утвердивший звание –
Человек.

Пётр Заманский

БАБИЙ ЯР

Ретроспективная поэма

1.
Ветер, стой!
 Пощади.
Не бросайся так яро.
Видишь,
 Люди на площади
возле Бабьего Яра.
Пламя б вечное высечь
не у плит мавзолея –
здесь,
 где тысячи тысяч
убиенных евреев.
Крутит снежная заметь...
плачет горько и громко.
...павшим...
 веч-н-а-я...
 па...мь...
...от скор-бя-щих
 по-том-ков...

2.
Давно следы бомбёжек не видны.
Давно травой позаросли окопы.
И памятники жертвам той войны
В гранит одели города Европы.

Исколесив туристом материк,
Я видел их. Восстав над площадями,
Они явили материнский лик
С типично иудейскими чертами.
Седую прядь прикрыла скорбно шаль,
Воздеты к небу жилистые руки,
И вся она – и гордость, и печаль,
Запомните её такую,
внуки!

3.

Киев.

Пух тополиный.

Моя Куренёвка.

Возле Бабьего Яра шумят бурьяны.
О, как мне перед целой Европой неловко!
Где ж ты, знак отшумевшей войны!?.
Где ж ты, в бронзе и мраморе, в тёмном граните
Обобщённая, скорбная суть бытия!?.
Вы меня за советскую власть извините:
У неё к этой памяти стёжка своя.

4.

Плачет небо.

Громы мечет.

Мне бы,

мне бы

птицей кречет

пасть на землю возле Яра.

Горю внемлю... Кара,

Кара

тем, кто нынче предаёт

смерть и слёзы,

кровь и пот.

Жертвы этого не знают.

Жертвы к памяти зывают.

Не стучи, пророк Илья,

в туче колесницей.

Пусть просохнет мать-земля,

небо прояснится.

Собирается народ.

Нынче годовщина.
Вот уже десятый год...
Бабий Яр.

Машина.

В кузове поэт стоит
и, чеканя строки,
очень внятно говорит:
– Все минули сроки.
Пусть идёт в ЦК письмо
от простого люда...
Сзади голос: Ты... дерьмо...
смазывай отсюда.
Подбиваешь всех жидов
топать против власти!..
Хочешь крови?..

Вот те, кровь!..
кулаком с размаху в бровь...
– Приехали...слазьте...
Другой на Некрасова пялит глаза:
– ты-то , русский...
не путайся зря.
Посторонний подойдёт,
посторонний не поймёт:
то ли митинг охраняют,
то ли митинг разгоняют?..
Ваксой чищенный сапог
Рыжего громилы
в луже утопил венки,
сорванный с могилы.
С красной полосой пикап
и в него проворно
два мильтона, будто в шкаф,
грузят непокорных.
Только, Боже упаси,
чтоб пронюхал кто-то,
что творится на Руси:
всех опасней «Би Би Си»,
всех страшней «Свобода».
И всё же начальство
забилось в истерике:
какое нахальство!

«Голос Америки»
задумал злословить:
«На ев-ре-ев го-не-ние».
ТАССу готовить
опро-вер-же-ние!»
... Плачет небо. Стонет гром.
День сырой и мгlistый.
Митинг в Яре. А кругом –
цепью – кагебисты.

5.
В бывшем лагере мраморный камень заложен.
Потускнело от времени золото строк.
И не знает никто, что здесь выстроят позже,
И вообще не наступит открытия срок.
Десять лет митингуем у камня-задатка...
Наконец, в исполкоме «товарищ» в чинах
Предложил Бабий Яр превратить в танцплощадку (!)
Встреча прошлого с будущим: бал на костях!
(Чтобы – бар с коньяком, ресторанные залы,
пожелал – за усопшего трахнуть бокал,
чтобы песни и джаз, и подвыпивший малый,
извините, но в Бабьем Яру... порыгал).
И взбредёт же такое чиновной паскуде!..
(Где он был в 41-м, в тот горестный год?..)
Только есть ещё, видимо, трезвые люди:
Кто-то сверху одёрнул: Что скажет народ?..
Как оценит Европа?.. Посмотрим реально:
Вся планета осудит нас наверняка.
Нужен конкурс на памятник. Ме-мо-ри-аль-ный!..
Но... конечно, под строгим присмотром ЦК»
И тогда в горсовет были вызваны зодчие.
Срочно график работ! Впрочем, срочно не очень-то.
(Как сказал мне один выпускник ВПШ
– Дело делать спешим. Но спешим. не спеша),
И, словно взывая к потерянной совести
партийных чиновников и КГБ,
Бабий Яр оглушил нас трагической новостью
и городу стало вдруг не по себе.
Возле Яра грунтовые воды рванули
и осела земля. В нарастающем гуле

смерть обрушилась вниз и накрыла потоком
и людей, и дома, и трамваи под током,
даже мост, что повис над дорогой ссутулясь...
Стал кладбищем асфальт потревоженных улиц.
Но пригладила пресса недобрые вести:
вместо «тысячи жертв», напечатала – «двести»,
запретили к могилам народные шествия,
всё свели к «ор-ди-нар-но-му происшествию»
Лишь в соборе старушки, смиренные с виду,
голосили по мёртвым, отбыв панихиду:
«Вот, что значит презреть Богом принятый прах!
Вот, что значит взмечтать танцевать на костях!»
Да включились тайком от соседей транзисторы
в час, когда лунный диск серебрился в окне,
и тогда, в поединке с помехами, выстояв,
устремилось к нам Слово «Свободы» без выстрелов,
мы ловили её на короткой волне.

6.

...Всё ж свершилось Я помню дождливое утро.
Сотни лиц. Все торжественно напряжены..
Из тумана вдруг выплыл трагически-мудрый
сорокакаменный реквием жертвам войны.
Вот оно – это прошлое Бабьего Яра,
возвращённое людям по воле резца
в обобщённо-конкретных деталях кошмара:
в позах, в жестах, в застывших гримасах лица.
Миг святой тишины. Дальше всё по реестру:
в карауле – герои днепровских боёв,
слово члену ЦК – медь военных оркестров
и народная память – монбланы цветов.

7.

Скорбный текст на плите. В нём слова, бронзовея,
так и просятся сами в торжественный стих.
В них есть всё. Только нет ничего о евреях,
будто в Бабьем Яру расстреляли не их!
Будто тысячи тысяч не шли по Артёму,
на руках не держали уснувших детей
и не с ними прощались соседи по дому,
те, кто судя по паспорту, был не еврей.

Будто в братской могиле под чёрной плитой,
рядом с русским солдатом – пленённым стрелком –
не евреи лежат, а зарыты изгой...

Впрочем, хватит,

Всё ясно.

Закончим потом.

8.

Европа. Европа. Стоят обелиски.

Цветы положи, обойди не спеша...

«Солдатам французским».

«Солдатам английским».

«Солдатам России».

«Бойцам США».

Звезда в шесть углов – монумент чёрно-белый

(его в сорок пятом ещё возвели,

как дань уважения к нации целой,

едва не исчезнувшей с лика земли).

Стоят монументы, стоят обелиски

в Париже, в Ковентри, в столице австрийской...

От чувства и сердца проложены тропы

к тем памятным вехам Свободной Европы...

9.

И только в России, как вечные данники,

на лесоповале, в глухой стороне,

исчезли в бессрочном советском Майданеке

наследники тех, кто погиб на войне,

наследники узников Бабьего Яра...

Но за каждую каплю их крови и слёз

придут, как возмездие плахою – кара,

obeliskami – память у белых берёз.

А может быть, общая ляжет плита

и будет на ней написано так:

«А им такое видеть довелось,

а им такое в жизни приходилось,

чего другим до пепельных волос,

до старости дожившим не приснилось».

Закроешь глаза и предстанут незримо

(число их я просто назвать не берусь)

все жертвы ГУЛАГа, все жертвы режима,

несметная армия павших за Русь.
А рядом – за вышками снег индевеет
и солнце встаёт над бараком-музеем.
И сковано всё тишиной леденящей...
День завтрашний: радостный день и скорбящий.
...Ветер, стой!..

Не ершись!

Не бросайся так яро.

Видишь, люди сошлись возле Бабьего Яра.
Пламя б вечное высечь не у плит мавзолея –
здесь – где тысячи тысяч убиенных евреев.
Тополиная замять плачет горько и громко:
Павшим вечная память
Благодарных потомков...

Альберт Леин

ИЕРУСАЛИМ

До свиданья, Иерусалим,
Архивы для тысячелетий,
Спешащий солнца пилигрим
По холмам Ветхого Завета

Легенд переседельый грим
Смывает новое приветье,
Неповторимостью на свете
И ненавидим, и любим.

И улиц пейсы разбросав,
Под шапкой недоброжелательств,
Ты вечности терпеньем платишь,
Понятий изменив устав.

Распахнутостию креста
И равнодушием Пилата.

ТЕЛЬ-АВИВ

Восток в зарницах интеллекта,
Шуршит туристовый прилив,
Как будто оживление лекций –
Гостеприимный Тель-Авив.

Уютность улиц синагожных
И минаретов острії,

И камни – летописей тоги
Давно себя сдают внаём.

Неугомоннейший подлиза –
Обпеневшийся прибой
Всё лижет берега карнизы
И любопытства разнобой.

И не дома, а зданья, зданья –
Отелей гулливверства смесь,
И светофоры, как гаданье
На картах перекрёстков здесь.

И переласковое солнце,
И в розницу, и на разлив,
Как будто искренность смеётся –
Гостеприимный Тель-Авив.

Петра апостольская церковь
На возвышенье, как маяк,
Неверья ангелы и веры –
Терпимости примерный такт.

Разноязычность разговоров,
Неудивительность ни в чём,
И воздух, и гипнозность моря,
И незнакомость за плечом.

Семён Лурье

ПОМИНАЛЬНЫЕ СВЕЧИ

Траурный вечер.
Помянуть пора
брошенных скопом в Освенцима печи.
В душах скорбящих всю ночь до утра
будут пылать поминальные свечи.

Целый народ нам нельзя не любить,
стыдно за тех, кто его ненавидит.
Многовековая памяти нить
вьётся в крови унижений, в обидах.

Нет, не забудут потомки года
Бабьего Яра, Варшавского гетто.
Время, в котором мы жили тогда,
не затеряется в памяти где-то.

Смена придёт, подрастёт детвора,
день этот в памяти будет отмечен.
И не погаснет всю ночь до утра
траура грусть.
Поминальные свечи.

ДЫХАНЬЕ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА

Овеяно древним библейским сказаньем,
где ближневосточные реют холмы,
всегда согреваемся тёплым дыханьем,
душою и сердцем на пике зимы.

И даже затронуло мысли поэтов,
давно устоявшийся ритм и стиль.
Дыхание ближневосточного лета
над кирхой ласкает готический шпиль.

У автора в собственной оде «Европа»,
от образов гонки сломалась строка.
Дырявую строчку ничем не заштопать,
под солнцем она не угасла пока...

Но автор, увы, обращается редко:
к напеву далёких библейских псалмов,
к мольбе своих незабываемых предков,
к дыханию ближневосточных холмов.

Овеяно ветхим библейским сказаньем,
где ближневосточные реют холмы,
весь мир согревается тёплым дыханьем,
и им никогда не надышимся мы.

Генриетта Ляховицкая

РОНДО КАПРИЧЧИОЗО

Расскажу вам без обману –
мне рояль не по карману,
я на скрипочке пиликаю,
непохожей на реликвию.

*Фьюи-фьюи, фьюи-фьить,
хорошо на свете жить!*

Ничего, что мир огромный
и немножечко погромный.
От Китая до Америки
разъятились наши жмеринки.
В них сопливые детишки
всё почитывали книжки,
да поигрывали гаммы
под приглядом доброй мамы,
и с лучистыми глазёнками
да со скрипочками звонкими
вырастали мендельсонами,
или с думами бессонными,
что вселенною навеяны,
просыпались энштейнами
и с задумчивой улыбкою
наклонялись над скрипкою.

*Фьюи-фьюи, фьюи-фьить,
нелегко евреем быть –*

по освенцимам гореть,
тяжким пеплом землю греть,
и измученным-израненным
обращать свой взгляд к Израилю,
и в пустыне сад растить,
на иврите говорить,
размышлять над древней Торою,
продолжать свою историю...

А сметливые детишки
всё почитывают книжки
о любви и совестливости,
о всеобщей справедливости,
и склоняются над скрипками
озаря мир улыбками.

*Фьюи-фьюи, фьюи-фьюи,
хорошо на свете жить!*

ДАРОВАНИЕ ТОРЫ

*Шавуот – праздник
дарования Торы*

Срастается песок мгновений
в сплошной овеществлённый наст.
Тысячелетий тяжкий пласт –
скупой источник откровений,
но через толщу тысяч лет
священный свиток древней Торы
донёс до нас святой Завет,
которому внимали горы.

Когда последний раб
почувствовал свободу,
Бог Тору даровал
еврейскому народу.
«Израиль, слушай!» –
голос прозвучал
и возвестил Завет –
начало всех начал:

«Пусть будет Бог один средь Мира.
Не сотвори себе кумира.
Господне имя всуе не скажи.
Субботе уваженье окажи.
Отца и мать ты чти, не забывай,
и никогда людей не убивай.
Прелюбодейство, кражу позабуди.
Не лжесвидетельствуй
и независтлив будь –
не пожелай себе добра чужого».

Первейшая духовная основа
дарована в Божественных словах...

Истёрло время в вечных жерновах
вершины гор, царей, дела веков,
но Пятикнижие на сотнях языков
всё озаряет тем же чистым светом –
великим нестираемым Заветом
с камней скрижалей – без черновиков.

БЕРЛИН, ДЕВЯТОЕ НОЯБРЯ 1938

Мне было полгода,
всего-то полгода...
Кто знает,
какая стояла погода
в тот первый
из жизни моей ноябрей,
но мёртвые листья
с деревьев слетали
и скорбными жёлтыми
звёздами стали,
пометив одежды:
«Вниманье – еврей!»

Пристанища веры,
извечно опальной,
громили, зверея,
той ночью «хрустальной»

под звон и под хруст
 леденящий стекла.
И тенью кровавою
 огненно-чёрной
накрыло весь мир
 этой ночью позорной...

Смогу ли поверить,
 что ночь истекла?

ЕВРЕЙСКИЕ ЖЕНЩИНЫ

К празднику Пурим

Библейских красавиц особая статья,
и поступь, и нежность, и сила,
уменье прекрасною матерью стать...

Природа им щедро дарила
терпенье и мудрость, практический ум,
достоинство, верность, сердечность,
способность хранить
 среди тягостных дум
весёлой улыбки беспечность...

Еврейские женщины не без причин –
на всё есть причины у Бога –
взирают всегда свысока на мужчин,
сидящих внизу в синагогах.

История всё продолжает свой ход,
народы и страны сметает...
Еврейская женщина вечный народ,
как прежде, всё вновь созидает.

ПУЛЬС ИСТОРИИ

Тысячелетиями, а не веками,
Восток и Запад тянутся друг к другу –
туда, где стрелкой, обращённой к Югу,

Израиль вклинен меж материками,
когда-то бывшими единым целым.

Связует он два мира и два моря,
с самой судьбою непрерывно споря,
пульсируя всем невеликим телом.

И не один пророк уже погиб там,
и вечность там сжимается шагренью
с библейских давних пор, когда мигренью
залёг Израиль на виске Египта.

И в сердцевине Иерусалима
сошлись в раздорах языки и веры
в извечных поисках добра и меры.
Но жажда эта так неутолима...

ХЛЕБ СВОБОДЫ

Тысячелетий прорезая тьму,
в безгласных недрах памяти еврея
звучит поныне голос Моисея:
«Свободу дай народу моему!»

Диаспоре стал домом чуждый край,
меняются обличья фараона,
и всё звучит, как и во время оно:
«Народу моему свободу дай!»

В дни Пасхи сдобы пышной не приму –
опресноки дошли до нас сквозь годы.
Суров и прост хрустящий хлеб свободы.
Свободу дай народу моему!

ПИР ВАЛТАСАРА

*Перевод с «исторического»**

Драгоценные чаши нечистым вином наполняя,
над святыми сосудами Храма чужого глумясь,
Валтасаровы гости пьянели и пели, не зная,
что с кровавым похмельем уже установлена связь.

«Мене, мене...» – стена озаряется страшно, и сразу
под неведомой твёрдой и неумолимой рукой –
«текел» и «уфарсим» завершают таинственно фразу.
Кончен пир, и теряет правитель свой сон и покой.

Иудей Даниил раскрывает той фразы значенье –
предрекает она гибель царства, плененье и смерть.
Лишь пророкам и смелость от Бога дана, и умение
предсказать властелину грядущую гибель посметь.

Всё исчислено, взвешено всё на весах неподкупных,
истончается скверною Жизни непрочная нить,
и «Отрезано!» – вдруг прозвучит на часах совокупных,
и ничто бытие в суете не сумеет продлить.

* См. Ветхий Завет, Книга Пророка Даниила.

СУББОТА В ЭМИГРАЦИИ

Не зажигали мы свечей к Субботе,
и в синагогу не ходили мы,
и думали в субботу о работе,
а не о Боге, но духовной тьмы,
сказать по правде, мы не замечали.

Запретом скрыты оставались дали
для нас, привыкших к жизни
за стеной,
но годы шли, и стала жизнь иной.

Стараясь непривычною рукою
два огонька зажечь в вечерний час,

надеюсь душу обратить к покою,
которому не обучали нас.

Колеблются Субботы огоньки
от дуновений воздуха свободы...
Пытаюсь я в оставшиеся годы
вступить в неиссякающие воды
из Вечности струящейся реки.

СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

Где-то там, глубоко в подсознание,
затаился неведомый чип.
Кем он встроен? Какое в нём знание?
Почему он так долго молчит?

Но однажды, ростком незаметным
от него исходящая нить
свяжет душу с Народом Завета,
чтоб Частицу с Единым сроднить.

И сколько я живу,
и сколько буду жить,
поёт и будет петь
связующая нить.

ЖИВЫЕ ПИСЬМЕНА

Еврейский камень – письменный гранит
из магмы вулканической рождён.
В его узорах виден алфавит,
которым был народ мой награждён.

Еврейские священны письма.
Какой рукой начертаны они?
Из древних свитков эти семена
взойти сумели снова в наши дни.

Я радуюсь вневременной судьбе
далёкого родного языка.

хранить, словно в голод
оставшийся знак.
Вершинами звёздного
знака Давида
пронзить ненавистный
скорюченный знак.

Страдания народа,
и снова страдания –
от Бога – избранья
терновый венец?
Не сдаться... Страдать,
проходя испытанья,
и в праздники их
превращать под конец.

И в праздники эти
всё так же, как прежде,
колеблется время
на вечных весах,
глоточек вина –
истомлённой надежде,
и горечь веселья
в еврейских глазах.

Анжелла Подольская

ЯВРЕЙ

Саша не помнил свою маму. Не мог помнить. Она умерла во время родов, дав ему жизнь. Растила его Сима, родная сестра мамы. Саша так её и называл – Сима. Она любила племянника, жалела. Бывало, что и сердилась на него, когда он не слушался, капризничал или долго болел, отказываясь от лекарств. А ей ведь на работу надо. Тогда она оставляла возле его дивана на стульчике два блюдца с таблетками. И долго объясняла ему, не понимавшему ещё в часовых стрелках, что когда большая будет вот тут, а малая здесь, он должен выпить таблетки из первого блюда, когда же стрелки доберутся вот сюда – из второго, ну, а потом она уже вернётся с работы.

– Не шали, – просила она. – И не забудь, проголодаешься – под моей подушкой в одеяле завёрнута кастрюлька. Там мясо и пюре. И чаще пей, чай в банке.

Она оставляла ему книжки с картинками, и уже выходя из квартиры, говорила:

– К окну не подходи, там дует. И не бойся. Поиграешь, поспишь, и я скоро приду.

Он и не боялся. Наоборот. Ему было уютно. Он даже любил болеть, особенно, когда на улице зима, снег, а он в постели и ему тепло и уютно. И в детский сад тогда идти не нужно. Не любил он этого. Не было у него там друзей, а взрослые – такие противные, «то» нельзя, «это». За другими детьми всегда приходили папы и мамы, за ним – Сима. Иногда её подменяла подруга. Часто дети интересовались:

– Почему за тобой приходят только мама и тётя? У тебя что, нет папы?

Саша не отвечал и обижался. Хотя, папа у Саши был, только он его

почти не знал. Однажды, когда Саша тяжело болел, пришёл какой-то андя и пил чай на кухне с Симой и её подружкой. После его ухода Сима сказала подружке:

– Видишь, какой жлоб! Сыну ничего не принёс. Я ему позвонила, сказала, что Сашка болен. Так он зашёл проведать... Так... Походя... Ему не жаль внимания, если оно ничего не стоит. Говорила я Аллочке, чтобы вышла за него... Просила, не оставляй ребёнка, вытрави... Не послушала она меня. И полгода не прошло, как он другую жену себе завёл. Поэтому же ещё и оправдание придумал: «Против физиологии, Сима, не попрёшь». Стал просить меня: «Сима, возьми к себе мальчонку. Зачем ему с мачехой-то жить?» Да кто бы ему Сашку отдал? Хорошо, что мама до Аллочкиной смерти не дожила. Она бы этого не вынесла. У неё ведь больное сердце было.

Саша лежал в комнате с температурой, но всё слышал из-за неплотно прикрытой двери. Он жалел, что ему не удалось увидеть своего папу. Он не понимал. А Сима говорила, что у него нет папы. Вот он завтра её спросит: «Зачем врала?» Но завтра, он забыл спросить её об этом.

Он часто разглядывал висевшие на стене фотографии в одинаковых рамочках. Две тётки – мама и бабушка. Бабушка, пожалуй, нравилась ему больше, она смотрела на него с улыбкой. А мама Алла – хмурая, с длинным носом, очень похожая на Симу. Саша подходил к зеркалу, сравнивая свой нос с маминым. «Какая она была, моя мама?» – думал он и топтался. Саша не делился с Симой сокровенными мыслями о маме, о папе, хотя её вниманием он не был обделён. У него было много игр, книг, которые Сима читала ему. У него была хорошая память, и в четыре года он сам научился читать.

Мой вундеркиндик, – восторгалась Сима. – Вот стукнет тебе шесть пойдёшь в школу. Обязательно.

Что это, школа? – спрашивал он.

А это, как садик, только спать днём не нужно, а ещё там ставят отметки.

Не хочу в школу, не хочу. И в сад не пойду больше. Я тебя дома ждать буду.

Не выдумывай, – взвизгивала Сима. – Не будешь меня слушаться, в интернат сдам.

Саша надувался и в кармане скручивал Симе фигу: «Вот тебе». А, заодно, и её подруге, когда та поддерживала Симу: «Сдай его, сдай. Может, хоть тогда замуж выйдешь».

– А... всё равно! – отмахивалась Сима. – Теперь порядочные женщины никому не нужны. Ну, скажи, кого интересует, что «ты» – личность? Главное, чтобы ноги от плеч росли, ну и родители, при этом, богатенькие были. У нас – ни того, ни другого. Вот и будем с Сашкой век коротать. Да, племянш?

И она начинала его обнимать, целовать, приговаривая: «Ты мой единственный, маленький мужчина. И нам никто не нужен. Никто, никто, правда?»

Саша ничего не понимал из Симиного монолога и вырывался из её объятий.

Однажды, Сима повела его на балет в оперный театр.

– «Жизель» – мой любимый, – объявила она ему.

Саше в театре не понравилось. Темно, ничего не видно, он крутился, разглядывая всё вокруг.

– Сиди спокойно, – шепнула Сима. – Тебе что, совсем не интересно? Слышишь, какая дивная музыка?

– Сима, а эти тётки на сцене порядочные? – громко спросил Саша. – У них же ноги от плеч растут.

Сима с негодованием зашипела на него:

– Тихо. Замолчи сейчас же.

После спектакля, когда они вышли из театра, она сказала Саше:

– Эх, ты! Я тебе подарок хотела сделать. Такой балет... А ты... бездушный... Весь в своего отца.

Тогда Саша вспомнил и закричал:

– А ты врунья, врунья. Есть у меня папа. И я его люблю. Он лучше тебя. Отведи меня к папе.

Сима оторопела и прижала Сашу к себе:

– Прости меня, прости. Я пошутила. Пойдём в кафе.

Она завела его в кафе-кондитерскую. В кошельке оставалась пятёрка до зарплаты. «Дотяну. Гулять, так гулять», – подумала она. Ей хотелось доставить ему удовольствие.

– Что ты хочешь, пирожное или мороженое?

Я ещё не определился.

Ну, определись. Я подожду.

Саша выбрал всё. Три вида пирожных, мороженое и молочный коктейль.

Какие вкусные, никогда таких не ел. Всё отбивные да отбивные... Мы прийдём сюда ещё? – спросил он.

Придём. Я думаю, что раз в неделю, нет, пожалуй, раз в месяц, мы можем себе это позволить, – пообещала Сима.

Как-то Сима купила ему «Конструктор». Сначала ему было интересно. Он собирал разные машины, мосты, но потом ему надоело, и он перешёл к книгам.

Ты – мальчик. Будущий мужчина. – Сима попыталась вернуть ему интерес к «Конструктору». – Ты должен развивать в себе технические способности. Хочешь стать инженером, когда вырастешь?

Не а, – ответил Саша. – Я кардиналом хочу. Ришелье.

Что? – изумилась она. – Ты сумасшедший.

Обычно, каждое лето, Симе удавалось вывозить Сашу на природу. Один раз по путёвке была с ним в Евпатории. Когда ему исполнилось шесть с половиной лет, Сима решила, что этой осенью он пойдёт в школу. Летнего отпуска у неё не было, так как она недавно поменяла работу. Она обратилась с просьбой к Сашиному отцу.

Когда он пришёл, Саша его хорошо рассмотрел.

Ну, чо, пацан, растёшь? Молодца! – похвалил Сашу отец.

Сима провела его на кухню, отправив Сашу в комнату, который прилушивался к их разговору.

Я никогда и ни о чём тебя не просила. У меня отпуск в декабре, а ребёнка перед школой нужно обязательно оздоровить. Отправь его к своим, в село, – попросила она.

Сто раз тебе говорил, не село это, посёлок, – обиженно заметил он.

– Ну, какая разница? Но там – речка, Южный Бут, дом у них свой, сад. Хотя бы раз в жизни внука повидать могут? – не отступала она.

– Ладно. Созвонюсь со стариками. – согласился он.

– Только не тяни, август «на носу», – напомнила она.

Через неделю дядя-папа пришёл опять.

– Они согласны. Уболтал. Повезёшь его? Я не смогу, – сообщил он.

– И я не смогу. Ничего, он уже взрослый. Посажу его здесь в электричку. Только, пусть его встретят на вокзале.

И спустя несколько дней Саша ехал в Винницу. Он был очень горд собой. От внимания попутчиков, которым поручила его Сима, отказался. Он уже не маленький. Едет к бабушке и дедушке. Там речка и огород – вот здорово. Он немного волновался – узнают ли его дедушка с бабушкой? Ещё он скучал за Симой, ведь никогда прежде не расставался с нею. Ничего, это ненадолго, всего три недели. Он с интересом смотрел в окно и не заметил, как уснул. Очнулся, когда кто-то тряс его за плечо. Перед ним стоял маленький, полненький, розовощёкий старичок.

– Ну, то ты – Сашко? А я – дид Марьян. Пишлы, чи шо? Нам ще на автобус поспеть надо.

Они направились к автобусной остановке. В автобусе было много людей и очень жарко. Сашу разморило, он хотел спать.

– Нэ спы, – сказал дед Марьян. – Скоро вжэ Брацлав, нам сходить.

Они вышли из автобуса на площади, где была церковь и базарные лотки. Пошли вниз по немощённой улице, по обеим сторонам которой стояли дома, утопающие в садах. Было очень красиво, и воздух был напоён ароматом яблок.

– Марьян, перепрошую! Шо, новый дачник? – окликнул кто-то деда.

– Та ни, це онук, – отмахнулся дед. – А от, мы вже и вдома. Заходь, хлопець, – и он распахнул перед Сашей калитку в большой красивый двор.

– Миля, Миля! – позвал он.

Из-за дома вышла женщина с крашеными волосами, накрученными на бигуди, тоже какая-то розовая, но помоложе деда Марьяна. Дед Марьян подтолкнул к ней Сашу:

– То – баба Миля. Поздоровкайся.

– Здравствуйте, – робко сказал Саша.

– Так. Прихав? Ну, якої ты, дай подываюся? Ой, худющый! Яблука хочеш? Вона, в миске антонувка, дуже пахуча... У цьому році вродила, а в тому нэ було. Та на той рик нэ будэ. Вона через рик на другий яблука дає. Зрозумів?

Саша понял, но яблоко взять постеснялся, хотя ему очень хотелось. Баба Миля завела его за дом, где была пристройка.

Спать будешь тута, из намы. У доме в нас дачники, пид ногамы у них шкелюхы. В огород пиды, паречки нарвы. А то, с дедом йды, скупайся. Чыма по вулицы – речка.

В это время во двор вошли какие-то люди. «Дачники», – догадался Саша.

О, Марьян Васильевич, день добрый! Не виделись с утреца. Водичка, положу я вам, сегодня отменная. А как клевало-то, ночью? Успешно? Миланчка Миколаевна, у вас осталась рыбка? Продадите нам к обеду?

А чого ж не продать? Зосталась ишо, – подтвердила она.

А это кто? – указывая на Сашу, спросил кто-то.

То, онук прыехав, – ответил дед Марьян.

Так у вас и внук есть? А в прошлом году внучка с невесткой отдала.

Та це ж од той, од яврейки, – сообщила баба Миля.

А... – как-то жалостливо протянул один из дачников.

Саша покраснел и, выскочив за калитку, бросился вниз по улице. Речка. На берегу было много людей, и на него никто не обратил внимания. Вот будет тут сидеть и не пойдёт к этой злой бабе Миле. А то, и в воду прыгнет и утонет. Назло ей – будет тогда знать. Сима ей все волосы повывёртывает – так ей и надо. Увидев подходившего к нему деда Марьяна, Саша хотел вскочить и убежать, но не успел. Дед Марьян взял его за руку и усадил рядом с собой на камень.

Ну чого убёг? Рассерчал? Нэ трэба, баба Миля тилькы з выду строгая. Може, скупнёшься? Чы домой пидём? С дороги ж, видать, прытомывся, та й голодный навжэ?

Саша согласно кивнул. Едва вошли во двор, баба Миля накинулась на него:

- Ты шо цэ? Я т-те побегаю! Одвечай потом за нёго. Ты дывыся – ураз до тётки видправляю! Ну-ка, руки мый та пид навес сидай обидаты.

Из казанка она разлила дышащий паром, словно живой, ярко-бордовый борщ с кусками мяса:

- Йиж, йиж. Тахлиб чесноком потры! Не вмеешь? Вона як, дывыся! Укусно? (То ж! Чым тебе тая Сима тилькы кормить, шо ты такый худющий, га?

– Ну, чого? Чого до парня привязалася? – огрызнулся дед Марьян.

– А тэбэ не спросылы, старый! И все отым очкатым явряям треба знаты. Хто, да шо, да звидкыля. Ото, не пуш-шу йих на следушый рик, нэхай у других сймають. А то, усё йим – тута. И рыбки йим продай, з города усё брать дозволяю. Не пуш-шу бильше.

– Шо ты до тых явреев прычипылася? Шо воны тоби зробылы? Ты йиж, йиж. – подмигнул дед Марьян Саше. – Слухай но! Виддыхнёшь трошкы, а як солнцэ зайдэ, то на рыбалку зи мною, згода?

День был тёплый. Чистый. После обеда баба Миля постелила Саше постель и велела немного отдохнуть. Саша опасался, что проспит рыбалку, но дед Марьян разбудил его, как и обещал:

– Айда?

– Айда, – согласился Саша.

– Ты, того, – сказал дед Марьян, – вденься добрэ, бо на речке вночи холодае.

Взяв удочки, банку с червячками и немного яблок, они пошли к реке. Справа от пляжа, где Саша побывал днём, был лодочный причал, где у деда Марьяна была лодка, в которую они и забрались. Потом дед долго грёб и остановил лодку посреди реки, сбросив грузило. «Южный Буг – большой и широкий, и не речка, а большая река», – подумал Саша. Ему было интересно, как рыба клюёт и он радовался каждой пойманной рыбке. Потом заскучал, у него начали слипаться глаза.

– Ты, давай! Лягай. – сказал дед Марьян. – Тилькы телогрейку кынь на ноги. Спы, спы.

Разбудил его дед, когда светало, и лодка уже стояла у берега.

– Бачыш, скильки мы из тобою наловылы? Ото – карасики, а це з вусамы – то сом. А ци – мелочёвка, плотва. Ну, пишлы. А то твоя баба Миля нас заругае. А як поспыш, поснидаем, то в лис сходим – орехов наберём, лещины. Ты любыш лещину?

– Дед Марьян, а что это, яврей? – спросил Саша.

Удивлённо посмотрев на Сашу, дед сказал:

– Ну, то нация така.

– А что это нация?

– Ну, дывыся! Я од, к примеру – поляк. А баба Миля – украинка. А маты твоя яврейкой була.

«Что плохо, яврей?» – тихо переспросил Саша.

«Ии, нэ дуже. Чому пагано? Алэ и не дуже добрэ. А ты запам'ятав, іи? Ты не серчай. Баба Миля, вона на язык гострая. А так – то не. Не робишся: ты ж не зовсім яврей? Ты – ще трошечки и поляк, и українець. Так що, усё – гаразд».

А... – Саша вздохнул. – Дед Марьян, а сколько мне ночей ещё тут сидеть, как я домой поеду?

«Вже заскучав?! Быстро. Ну, пишли до дому».

Когда они вошли во двор, в доме и пристройке было тихо. Только в тишине пел сверчок.

Проснувшись около полудня, Саша записал на листочке: «Один» – один день в деревне. Ничего особенного. А дед Марьян хороший. Лучше, чем папа. Выйдя во двор, он прошмыгнул мимо бабы Миля.

«Стий! Куды?» – окликнула она.

На речку, – глядя исподлобья, ответил Саша.

Добрэ. Скупныся, и шоб мени одразу назад.

Подбежав к реке, Саша сразу прыгнул в воду.

Ох... Хорошо.

Мальчик, мальчик! Что ты разбрызгался? Где твоя мама? Не заплывай, там глубоко, – сказала какая-то тётя.

Немного в стороне, в воде, резвились мальчишки. Они его не позвали. Ну и не надо. Зато, он с дедом Марьяном за орехами в лес пойдёт.

В лесу было душно. Они набрали много лещины и шиповника. А шиповник был колюч, и Саша исцарапал себе все руки.

«То не страшно, – говорил ему дед Марьян. – Вин дуже пользительный. Заварымо тоби кружку – за-пах... И косточки твои уси разправлять-ся. Сильным будэш та большым».

Вечером они снова отправились на рыбалку. В эту ночь Саша уже не спал. Дед доверил ему удочку, и Саша не отрывал от неё глаз. Дед Марьян учил его:

– Ты держи йии нижню, одним пальцом, нэ надавайюй дуже.

Говорили они шёпотом. «Шоб рыбка не спугалася». Под утро ведро опять было полным.

Каждый день баба Миля жарила и тушила рыбу, которую Саша по-

любил и научился есть. Он стал отличать вкус одной рыбы от другой, но больше всего ему нравились сладкие, хрустящие карасики, которых он сам ловил. Три недели незаметно пролетели, и к концу своего отдыха Саша совсем забыл о своих пометках. За это время и Саша, и дед Марьян очень привязались друг к другу. Уезжать уже совсем не хотелось, но дома его ждали Сима и школа.

– Прыйидеш на следущый рик, чы не? Чы, може, тоби баба Миля не вгодыла? – донимала его баба Миля, прощаясь.

– Приеду, – буркнул он.

– Ото й добре. Та нехай твоя Сима из тобою прыйизжае. Скажеш, баба Миля прыглашала.

Когда дед Марьян посадил его в электричку, то крепко обнял его:

– Ото тоби яблучков на дорогу та пирожки из выпшнямы – баба Миля напэкла. Ты нэ думай, вона до тэбэ дуже по-доброму. Тилькы з выду суровая. Прыйизжай. Прыйидеш?

– Приеду. И вы, дедушка, приезжайте. Я буду скучать за вами.

– Прыйиду, сынок, прыйиду. Он поцеловал Сашу и вышел из вагона.

Когда электричка тронулась, дед Марьян замахал рукой, и Саша ещё долго видел его широкополый брыль.

Встречала Сашу Сима.

– Сашка! Ох, и вырос! И загорел как! А я костюм тебе для школы купила, вдруг мал будет?

Дома, у окна стоял новый письменный стол, на нём все школьные принадлежности. Саша не подошёл к нему. Не стал примерять и школьный костюм. Он стоял у фотографии матери, пристально глядяваясь в её лицо.

– Сашка, мой руки! Сейчас обедать будем, – крикнула из кухни Сима.

– Она яврейка? – тихо спросил он.

– Что? – не расслышала Сима.

– Она яврейка, яврейка? – громко повторил он вопрос.

Сима остановилась на пороге, ошеломлённая его вопросом.

– Она яврейка. Ты тоже яврейка. И ты хотела, чтобы она меня отравила, – закричал он.

– Что ты несёшь? – спросила Сима бледнея.

– Я всё слышал. Ты... Ты говорила ей, чтобы она меня вытравила. И я не буду никогда носить очки. Поняла? Никогда. Я не настоящий яврей. И ещё немного поляк, и немного украинец. Поняла?

Он заплакал. Сима подошла и обняла его. Она тоже плакала.

– Сашенька, родной мой! Прости меня. Ну, что ты такое говоришь? Твоя мама была хорошая, очень хорошая. И тебя любила. А я... Я же не знала тогда, что ты такой у нас вырастишь.

– Какой? – сквозь слёзы, всхлипывая, спросил Саша.

– Ну, вот такой... Замечательный и умный мальчик. Будущий кардинал Ришелье.

НЯНЯ

– Эта докторша знов крутица на каблук – бижить на свою парсобранию. Там йим как намазано чимсь... Шо йим муж, рабёнки? – брюзжала Аделя за спиной у моей мамы, которую, когда сердилась, называла докторшей, говоря о ней в третьем лице.

Мама, красивая брюнетка, с характером «Железной леди», с Аделей всегда в меру терпима. Не прекращая одеваться, оправдывается:

– Это партийно-общественная работа. Понимаете? Об-щест-ве-нна-я!

– Шо ви мине – «Обчествиная, обчествиная», – не успокаивается Аделя. – У вас – симя. Хлебом не корми – дай на парсобрании посидеть. Пишкэ з ёлка. Ищёт себе ходыны.

– Ну что Вы хотите? – не выдерживает мама. Она не повышает голоса, но в нём уже проскальзывает раздражение. – Хотите, чтобы меня вышвырнули с работы? Думаете, у меня есть силы возвращаться обратно в клинику? После ночного дежурства я приняла почти тридцать больных. Потом примчалась домой, замочила бельё, помогла Вам с обедом...

– О-о! – гремит Аделя. Шо за видумка? Как и вам это наравица? Такая нахальства! Ну, я и вас спрашиваю? Они вжэ мине обед наладили. Било би лучше, шоб ви зовсем не зъявлялися на кухне. Усе суседи од нас разбигаюца. Шо ви йими командаваете? Они вам шо, санитарки? На Аделю можна командавать. Аделя – вбирай! Аделя – по очередях стой! Аделя – з имглыком гуляй! – (Имглык – это я. Не так давно узнала, что это просто-напросто «Ungluck»¹). – Усё – Аделя! Усё! Шо ви и будете

делать, если Аделя вернёца на обувный фабрику? До войны я стояла на «Процесс», – подразумевая конвейер, возмущается она. – А? Шо станете делать? Можете не одвечать, я й так знаю. Ви будете сидеть на парсобрании. И зачем ви только вишли замужэм? Шоб я й так жила, не знаю...

Устав пререкаться, мама заканчивает одеваться и молча направляется к выходу. Аделя семенит сзади:

– Ну, шо? Ви вжэ и зделали причёска, маникюр? Кода ви придёте? Ночю? Шо сказать Мише? Ладно. Йдите вжэ себе ради Бога! Шоб ви мне били здорови!

Мама, целуя меня, уходит.

– Йдите вже ради Бога, – копируя Аделю, повторяю я вслед за ней.

Вдруг Аделя обрушивается на меня:

– Имглык! Шо ти и тут стоишь? Од я тибэ а щас и дам пара «Пэч»², так ти в мне будешь иметь. Зайди в комнат, малохолная! Усё горло в тибэ расхристанэ³, т-та-кую моду напридумувала... Ну, шо ти мальчиш что-нибудь? И закрой балькон, а то галабцы набегут, – кричит она, имея в виду голубей, поселившихся у нас на балконе.

Тут, о чём-то вспомнив, она бросается в сторону кухни по длинному коридору, вдоль которого с одной стороны комнаты наших многочисленных соседей. По другую – стена увешана корытами, вёдрами, прочими предметами домашнего обихода, обрамлёнными свисающими гирляндами проводов.

– Ой, вэй змир⁴. Забила мне усе памороки⁵, – кричит она. – Чрез неё усе катлеты чуть не згарэли. От – причепа⁶, – слышу я, появляясь на пороге кухни.

– Хочу котлету. Хочу котлету, – хнычу я, дёргая Аделю за фартук.

– Шо тибэ и вдруг приспичило? – удивляется она, зная мою способность продержат катлету за щекой полдня и даже проспять с нею всю ночь. – Ти зъела балён⁷? Балён – а махаэ⁸! Значала зъеш балён – выталкивает она меня из кухни, шлёпая по мягкому месту. – А-а! – Приговаривает она с придыханием. – Хайсл⁹! А шэйнэ мэйдэлэ!¹⁰

Вернувшись в комнату, я выливаю остывший бульон в фикус и мысленно обдумываю Аделины метаморфозы: «Имглык – Хайсл». Не понимая значения этих слов, лишь интуитивно улавливая их смысл, знаю – Аделя меня любит. Даже когда она «воспитывает» маму, понимаю

что и её она любит. Много раз слышала, как «выступая» на кухне перед соседями, Аделя нахваливает свою «докторшу»: «Ви знаете какая она дохтар? Она лучше, чем етат прифесар... У ней – не руки. У ней – золото... Я вам и гаварю... А шоб они у ней никогда не болели!»

Аделя – моя няня. Не просто няня. Можно сказать – вторая мама. Пройдёт много лет. Я вырасту. Аделя будет помогать растить моих детей. Появилась она у нас, когда мне было три месяца. Кто-то привёл. После тяжёлого послеродового сепсиса мама целый год болела. Предполагалось – Аделя пробудет у нас, пока мама не поправится. Жизнь распорядилась иначе – она прожила у нас долгие годы, став членом семьи, родным и близким. Когда мне было одиннадцать, кто-то познакомил её со столяром-краснодеревщиком, вдовцом, жившим на нашей улице. Мои родители сыграли им свадьбу, и Аделя ушла от нас к столяру. Она вернулась на обувную фабрику, на «Процесс», как она говорила. Но до конца её жизни не порывалась нить, связавшая нас.

А пока она воспитывала меня, была хранительницей нашего домашнего очага. Вообще, она была главой нашей семьи, имея огромное влияние на родителей. Несмотря на то, что жила в Киеве с пятнадцатилетнего возраста, она так и не научилась грамотно говорить по-русски. Её язык представлял смесь идиш, украинского, русского и ещё Бог весть чего. Мама всерьёз опасалась, что я буду говорить, как Аделя. Происходя из маленького местечка, тем не менее, она не верила в Бога, но в Судный день постилась, на Пасху устраивала подобие Седера, чему противилась мама. Была малограмотной, едва читала по слогам, и знания её представляли собой обрывки народной мудрости, соединённые с различными суевериями, кухонными пересудами и магазинными новостями. Очень некрасивая, что я стала понимать, став взрослой, с длинным вытянутым, подобно лошадиному лицу, с редкими зубами, маленького роста, сухопарая и быстрая, она успевала всё. Наш дом, тёплый и уютный, целиком был на ней. Аделя любила моего отца, заботилась о нём. Приберегала для него лучшее из еды. Во время обеда она священнодействовала: нижнюю четверть курицы – Мише. Маме и сестре – по половинке грудки. Мне – крыло. Себе – горло или попку. На следующий день всё повторялось. Жареной курицы должно было хватить на два дня. Когда кто-то из

нас протестовал, пытаюсь положить ей ещё кусочек, он получал отпор: «Я вас вмоляю. И шоб мне не било разговоров». Я очень любила её. Любовь к ней передалась и моим детям. Мне она казалась красавицей. Часто, усаживая Аделю на диван, я расчёсывала её редкие серые волосы. «Ты – моя красавица, моя – царевна, – приговаливала я. – Правда, Аделичка – красивая?», – спрашивала я у взрослых. Мой взгляд падал на её руки, нагруженные, морщинистые. Я не понимала, как моя Аделичка в эвакуации, о которой она часто вспоминала, с ружьём в этих самых руках, по ночам, охраняла элеватор. Впрочем, что такое элеватор и эвакуация я тоже не понимала.

Прошли годы. Состарившись, она подолгу жила у нас, намного пережив своего столяра. От былой подвижности ничего не осталось. Да и память её была пошатнувшейся. Бывало, сидя на кухне, прихлёбывая чай, который наливала в «блюдо»¹¹, она рассказывала маме, тоже намного пережившей моего отца, истории, которые я помнила с детства. Истории были одни и те же, но с разными вариациями и деталями. Однажды я услышала:

– Ви знаете? Кода я приехала из эвакуаций, я служила у одной дохторши. Так она, таки да, била «балэбатишэ»¹². Шоб я и так жила...

– Аделя! Что с тобой? Очнись! – закричала я, вбежав на кухню. – У какой докторши? Это же – мама! Это же – я!

– Да? – по-детски удивилась она. Ти думаешь, я – «амишигинэ»¹³, «цудрейтэ»¹⁴? Я просто немножэчко забила. Шэйнэ пуным¹⁵, ти нивроку виросла. Любо-дорого посмотреть. А ви помните наша суседка Сима? Она жила и сразу, як войдёшь. Флэйш мит эйг¹⁶. Она била шикса¹⁷, но лучше, чем какой-нибудь яврей. А ви помните Тиховод, та, шо жила и рядом из Симой? А неряхэ! А щинкирке!¹⁸ А её муж... Такой себе, Хаим – поволиньке. И ти дружила из мальчиком, гоем¹⁹, – вздыхает она, кряхтя. – Как его звали? Мальчи! Я щас и вспомню... Ой! Готеню, Готеню²⁰! – вздыхает она.

Так и не вспомнив, она начинает засыпать. Не переставая удивляться, как точно она расставляет акценты, не делая снисхождения, даже одной из наших бывших соседок, которая была моей молочной матерью, я отвожу её в комнату. Укладываю на диван и укрываю пледом.

«Мир зол зайн»²¹, – гладит она меня по руке. Я целую её морщи-

нистое лицо, слезящиеся глаза. И она засыпает беспокойным сном. Прикладывая палец к губам, я призываю всех к тишине: «Аделичка спит. Пусть отдохнёт. Она заслужила это» ...

БАБМАНЬ

– Лёва, проснись! Взгляни на часы! И не притворяйся. Вижу, что не спишь. Ну, давай, давай, поднимайся. А я тебе котлетки с хрустящей корочкой, как ты любишь, поджарю.

– Врёшь – беззлобно, сквозь сон, сказал Лёва.

– Вру, – согласилась бабушка. – Забыл, что врач советовал?

– Ещё чего! Сам пусть худеет.

– А я думала, ты уже взрослый мальчик.

– Меньше думай, Бабмань! Вредно для здоровья. Иногда, правда, мозгами пошевелить не лишне. Но не в этом случае, – зевая и потягиваясь, сказал Лёва. – Нет, серьёзно. Ну, чего ты там к завтраку сварганила?

– Творожок сварганила, – перешла бабушка на Лёвин жаргон. – Он у меня получается, как живой, ты же знаешь. В нём много кальция, который необходим твоему растущему организму.

– Концентрированная польза? – с издёвкой спросил Лёва. – Гадость, ещё та.

– Ну, не умничай, поднимайся. Родители рассердятся, если ты и сегодня в институт не пойдёшь.

– И не пойду. Надоело. На рынок поеду. Птичий.

– Что ты там забыл, дуралей? Попугая?

– Ладно, Ба. На самом интересном месте сон мой оборвала. Мечту можно сказать. Давай, шевели копытами. Мне одеться нужно.

– Солнышко! Что, я тебя не видела?! Вот!! – вытянула она руки. Этими самыми рученьками тебя и мыла, и пеленала с самого твоего рождения. Мирра училась. Должна же я была дать дочери образование? А твой папаша ... На Фиму надеяться нечего.

Бабманя безнадёжно махнула рукой и вышла из комнаты внука. «Ну, не любит она Фиму. Пусть её расстреляют за это. А за что его любить, спрашивается? За его длинный нос? Почему-то, точная копия такого носа у внука её вполне устраивала и несколько не раздражала. Скорее, наоборот. Только мальчик несколько полноват. И совершенно прав док-

тор: Лёвке нужно похудеть. Подумаешь! Так не пойдёт он сегодня в институт. Ну и что? Нормальный здоровый сон семнадцатилетнего мальчишки, до ночи сидящего в Интернете. Мечту она ему, видите ли, обобрала... На самом интересном месте... У него, оказывается, есть мечта. Знает она его мечту, эту Зоську, из одиннадцатой, которая его бросила и теперь простаивает в парадном с Жоркой, Лёвкиным другом. Друг называется. Таких друзей, она бы... – Бабманя перекрестилась, хотя была чистых кровей еврейкой. – А, какая разница? Бог – он един. Для всех. Только каждый идёт к нему своим путём».

– Разве это – жизнь? – сказала она вслух.

– А что же это, по-твоему? – спросил появившийся на кухне Лёва.

– Дай ухо, так я тебе скажу.

– Ну?

– По-моему, это... – и она что-то шепнула Лёве на ухо.

– Прикинь... – рассмеялся Лёва. – Это и есть жизнь. Сечёшь? Ну, где обещанные котлеты?

– Не дури! Ешь творог. Котлеты будут к обеду.

– Ба! Отвянь со своими витаминами. Будут котлеты, вот тогда и поговорим. – Хлопнув дверью, он ушёл.

«У мальчика – душевная травма, – расстроилась Бабманя. – Такой Лёвчик! Такое ясное солнышко! А эта Зоська?! Корчит из себя английскую королеву. Ну, ничего, ничего. При встрече она плюнет в её нахальную польскую рожу. Нет, в рожу не стоит. Лучше она плюнет на её новые, на шпильках, сапоги. А слюна-то у неё ядовитая. – Бабманя тихо засмеялась, и в глазах её вспыхнул странный блеск. Она вспомнила, как разозлившись однажды на Фиму, плюнула в приготовленный ею зелёный борщ, который и подала «любимому» зятю. – И Фима, смешно вспомнить, но он отравился. С ума соскочить можно».

Взяв щётку для пыли, она зашла в комнату внука и, в который раз, восхитилась: «Ты глян! Учиться не хочет, а в комнате чистота. – Она открыла шкаф, в котором царил идеальный порядок. Футболка к футболочке. Майка к маечке. Все вещи на отдельных плечиках. Аккуратист. От удовольствия она произнесла крепкое словцо. Подойдя к магнитофону, провела пальцем: ни пылинки. – И повезёт же кому-нибудь. Ох, и дура эта Зоська. Счастья своего не понимает. Да, ситуёвина... – Даже

бывая наедине с собой, она использовала Лёвины словечки. Она нажала на «PLAY», и по комнате поплыл «Караван». – Как его там? Эли... А... мбыла... Ну, в общем, Дюк. Лёвка его обожает. Ещё он обожает мясо. И Зосю». Бабманя закрыла глаза, расслабилась и, преодолев вместе с «Караваном» пустыню, достигла оазиса. Вспомнив про обещанные котлеты, она помчалась на кухню крутить мясо.

Часа через два хлопнула входная дверь, и Лёва позвал:

– Бабмань, иди сюда.

– Кто это? – спросила она, увидев в коробке из-под обуви маленького щенка. – Почему ты вдруг решил купить собаку? Это единственный способ быть любимым. За деньги.

– Он не вырастет в овчарку?

– Что ты! Это карликовый пинчер. Бесстрашный маленький воин с сердцем льва. Это девочка, Зося. Познакомься.

– Сучка? Ещё одна?

– Не обижай собачку.

– Лёва! Зачем ты её так назвал? Ну, ладно. Если тебе так легче... Ты подумай о «сегодня». О «вчера» забудь. Этой дуре от тебя нужен был только секс, а ты ещё совсем ребёнок.

– Ба, я в шоке. Ну, ты и продвинутая! Откуда ты только понахватала такие словечки? И определись. То я у тебя взрослый мальчик, то ещё ребёнок. Скажу тебе по секрету: я уже не ребёнок. Запомни.

– Ладно, Нерёбенок. Неси-ка свою Зосю на кухню. В последний раз скажу: хорошо, что ты больше не будешь таскать розы этой дуре из одиннадцатой.

– Это почему ещё?

– Ты опрыскивал их Мириными французскими духами.

– Да. Чтобы они лучше пахли.

– Ну и дурак. Если бы мать заметила, досталось бы и тебе, и мне. И откуда ты такой? А... Что я спрашиваю? Кого ещё мог сотворить Фима? Имя придумал: Лео, Леонард. Злится, когда я тебя Лёвчиком зову.

– Ба! Тебя что-то не устраивает?

– Меня всё устраивает. Так, бекицер. Мой руки, и к столу. И этой дай, Зоське.

От удовольствия жмуря глаза, Лёва поглощал котлету за котлетой.

– Бабмань! Ты настоящий друг, веришь?

– Верю, не подлизывайся. И особо не увлекайся. Ты не один, родителям оставь. Ну, а суп, как всегда, «в пролёте»? – она отодвинула от него миску с котлетами.

– Дай ещё.

– Хватит, я сказала. Ты – сыт. Достаточно.

– Хорошо. Ой, как хорошо. – В эти минуты Лёва ощущал абсолютное блаженство. Ему казалось, что Зосья уплывает от него всё дальше и дальше. Что он её уже не любит. Почти не любит. Он благодарно улыбался:

– Бабмань, а Расскажи-ка мне! Как у тебя было, ну, «это самое», с дедом? Давай, колись! Он у тебя был единственный?

– Фи-и! Циник! О чём ты спрашиваешь старую женщину?

– Ты, старая?! Ну, не скромничай. А знаешь? Если бы кто-то додумался провести конкурс «Мисс «Бабушка»», первое место было бы за тобой. И не сомневайся.

– Ну, да. Ну, да. Ты мне зубы не заговаривай. А вот лучше ответь, как долго будет длиться этот твой душевный кризис? Часами лежишь на диване, уставившись в потолок, и слушаешь музыку. Ты, что же? Хочешь увлечь Зоську своим крутым задом? Джаз, это конечно клёво. Как его там, твоего любимца? Эли? ...

– Ба, ну, ты даёшь! Элингтон. Запомнить не можешь.

– Ну, пусть Элингтон. Это тебе нужно мозгами пошевелить. Что ты строишь из себя обиженного и брошенного? Оскорблённая невинность, да? Умом взять надо. Делом. А Элингтон от тебя никуда не денется. Он и мне нравится, но это не мешает жарить для тебя котлеты. Зоська его, видите ли, предала.

– Ба, давай без фанатизма. Почему ты так не любишь женщин?

– Это кто женщина? Зоська? Ой, не смешите! Я хочу, чтобы ты стал самым умным. сильным. С комплексом полноценности. Ну, посмотри на себя. На кого ты похож? «Кефирчик» какой-то.

– Что?! – Вытянулось лицо у Лёвы. – «Кефирчик?!» Это ты про меня?

– А про кого же ещё? Не про Жорку же твоего. Пусть о нём беспокоится его бабушка.

– Но у него нет бабушки, ты же знаешь.

– Правильно. Так воспользуйся тем, что у тебя она есть. Твоей маме не до тебя. О Фиме я вообще молчу. Слушай, чему я тебя учу. Завтра же в институт пойдёшь. И без разговоров, понял? Ты должен сделать себя сам. Больше никому. Вот тогда и получишь свой градус удовольствия. А не заняться ли тебе верховой ездой? У тебя всё время должны раздуться ноздри, как у беговой лошади. Возьми пример хотя бы со своей собачки. Пусть и у тебя будет сердце, как у льва. – Она взяла щенка на руки. Бесстрашная Зоська зевнула, открыв маленькую пасть, недовольно мворчала, пытаясь высвободиться из цепких рук Бабмани.

– Ты посмотри, какая привереда! К хозяину тянется. Ну, иди. Иди к Лёве – отдала она щенка внуку.

Зоська потянулась и, обдав Лёву запахом шерсти и котлет, лизнула его в щеку.

Послания

¹ Несчастье; ² Шлепок; ³ Раскрыто; ⁴ Мне плохо; ⁵ Мозги; ⁶ Приставучая; ⁷ Бивальон; ⁸ Чудный; ⁹ Милая; ¹⁰ Красивая девочка; ¹¹ Блюдце; ¹² Хозяйственная; ¹³ Умасшедшая; ¹⁴ Чокнутая; ¹⁵ Красивое лицо; ¹⁶ Мясо с глазами; ¹⁷ Не еврейка; ¹⁸ Грязнуля; ¹⁹ Русский; ²⁰ Боже мой!; ²¹ Пусть твои несчастья перейдут мне;

От удовольствия жмуря глаза, Лёва поглощал котлету за котлетой.

– Бабмань! Ты настоящий друг, веришь?

– Верю, не подлизывайся. И особо не увлекайся. Ты не один, родителям оставь. Ну, а суп, как всегда, «в пролёте»? – она отодвинула от него миску с котлетами.

– Дай ещё.

– Хватит, я сказала. Ты – сыт. Достаточно.

– Хорошо. Ой, как хорошо. – В эти минуты Лёва ощущал абсолютное блаженство. Ему казалось, что Зосья уплывает от него всё дальше и дальше. Что он её уже не любит. Почти не любит. Он благодарно улыбался:

– Бабмань, а расскажи-ка мне! Как у тебя было, ну, «это самое», с дедом? Давай, колись! Он у тебя был единственный?

– Фи-и! Циник! О чём ты спрашиваешь старую женщину?

– Ты, старая?! Ну, не скромничай. А знаешь? Если бы кто-то додумался провести конкурс «Мисс «Бабушка»», первое место было бы за тобой. И не сомневайся.

– Ну, да. Ну, да. Ты мне зубы не заговаривай. А вот лучше ответь, как долго будет длиться этот твой душевный кризис? Часами лежишь на диване, уставившись в потолок, и слушаешь музыку. Ты, что же? Хочешь увлечь Зоську своим крутым задом? Джаз, это конечно клёво. Как его там, твоего любимца? Эли? ...

– Ба, ну, ты даёшь! Элингтон. Запомнить не можешь.

– Ну, пусть Элингтон. Это тебе нужно мозгами пошевелить. Что ты строишь из себя обиженного и брошенного? Оскорблённая невинность, да? Умом взять надо. Делом. А Элингтон от тебя никуда не денется. Он и мне нравится, но это не мешает жарить для тебя котлеты. Зоська его, видите ли, предала.

– Ба, давай без фанатизма. Почему ты так не любишь женщин?

– Это кто женщина? Зоська? Ой, не смешите! Я хочу, чтобы ты стал самым умным. сильным. С комплексом полноценности. Ну, посмотри на себя. На кого ты похож? «Кефирчик» какой-то.

– Что?! – Вытянулось лицо у Лёвы. – «Кефирчик?!» Это ты про меня?

– А про кого же ещё? Не про Жорку же твоего. Пусть о нём беспокоится его бабушка.

– Но у него нет бабушки, ты же знаешь.

– Правильно. Так воспользуйся тем, что у тебя она есть. Твоей маме не до тебя. О Фиме я вообще молчу. Слушай, чему я тебя учу. Завтра же в институт пойдёшь. И без разговоров, понял? Ты должен сделать себя умным. Больше никому. Вот тогда и получишь свой градус удовольствия. А не заняться ли тебе верховой ездой? У тебя всё время должны раздуваться ноздри, как у беговой лошади. Возьми пример хотя бы со своей собачки. Пусть и у тебя будет сердце, как у льва. – Она взяла щенка на руки. Бесстрашная Зоська зевнула, открыв маленькую пасть, недовольно шворчала, пытаясь высвободиться из цепких рук Бабмани.

– Ты посмотри, какая привереда! К хозяину тянется. Ну, иди. Иди к Лёве – отдала она щенка внуку.

Зоська потянулась и, обдав Лёву запахом шерсти и котлет, лизнула его в щеку.

Список

¹ Несчастье; ² Шлепок; ³ Раскрыто; ⁴ Мне плохо; ⁵ Мозги; ⁶ Приставучая;
⁷ Бульон; ⁸ Чудный; ⁹ Милая; ¹⁰ Красивая девочка; ¹¹ Блюдец; ¹² Хозяйственная;
¹³ Умасшедшая; ¹⁴ Чокнутая; ¹⁵ Красивое лицо; ¹⁶ Мясо с глазами; ¹⁷ Не еврейка;
¹⁸ Грязнуля; ¹⁹ Русский; ²⁰ Боже мой!; ²¹ Пусть твои несчастья перейдут мне;

Любовь Рейнгач

* * *

Мягкий, ласковый день. Всё в цвету.
Листья юные клейки.
Именинником по небу
ходит улыбчивый шар.
...На стене фото в ряд –
их отщёлкала старая «лейка»,
С фото лица глядят, все живые:
грустны, иль смешат.
И звучит инструмент непонятный,
похож на жалейку,
И плывут имена монотонно
шурша, не спеша.
Шнеер Шима, Рахиль, Залман, Мина,
Менахем, Шмуль, Бейлка...
Под лопаткой прокол, в горле ком
И немеет душа.
Смотрит: с сумочкой, бант в волосах,
сарафан на бретельках.
Рядом брат. Маловат, вид испуган,
но мячик прижат.
На другом: мальчуган у окна,
на окне канарейка,
И старик в кацавейке...
И стрелки назад, ход круша...
Духота, лай овчарок, крик, плач,
поезд, узкоколейка,
Ну, а дальше... Нет – дальше. Обрыв,

Где без рельсов, без шпал...
Пара туфель, стакан, чемодан,
томик Шиллера, Блейка,
Сарафан, два подсвечника,
Злотый, замотанный в шарф...
Мягкий, ласковый день. Всё в цвету.
Листья юные клейки,
Именинником по небу ходит
улыбчивый шар.
На стене фото в ряд.
Все живые: Менахем, Шмуль, Бейлка,
И часы идут мерно.
И стрелки назад не спешат.

ЛИСТОПАД

Вот и поставлена точка. Прилёт.
Кто с жёлтой меткой – два шага вперёд.
Жёлтому цвету приходит черёд.
Жёлтою строчкой строчит огнёмёт.
Скалит машина пасть-перемёт.
Жёлтые шины – липкий налёт.
Зондер - команда сзади идёт.
Зондер - команда мёртвых гребёт.

Вера Фёдорова

МЕЧТЫ

песня

Мечтал о счастье старый Моисей,
Ведя людей к земле обетованной.

Не думал он тогда,
Что будет не всегда
Их жизнь небесной манной.

Сквозь слёзы лихолетий и расправ,
Сквозь зла поток искали люди брода.

И потому грустны
Напевы старины
Еврейского народа.

Когда у вас сбываются мечты,
На крыльях поднимает вас свобода.

Как вешние цветы,
Мелодии чисты
Еврейского народа.

Как вешние цветы,
Мелодии чисты
Свободного народа!

ПОГРОМ

Тихо и горестно плачет ребёнок –
Чёрные кудри и сливы-глаза.
А из толпы прокричали: «Жидёнок!
Нехриста бейте! – хрипят голоса».

Хрупкие плечики мелко трясутся,
Ни убежать, ни укрыться ему.
Плачет ребёнок, а люди смеются:
Пусть к Иегове идёт своему!

Дом и добро изрубили на части.
Мать и отца растерзала толпа.
Недолговечно еврейское счастье;
Плачет ребёнок, но злоба слепа.

Вдруг перед этой толпой озверелой
Женщина встала, собой заслоня
Сына чужого. Открыто и смело
Крикнула громко: «Убейте меня!»

Волосы сбились ручьём золотистым.
Мальчика крепко прижала к себе.
Смолкла толпа перед искренним, чистым
Взглядом и сердцем, готовым к борьбе.

Альфред Ходорковский

МЕТКА ПАЛЕСТИНЫ

1

Накаркал ворон в неурочный час,
Посеял в душах злое наваждение...
Вражды огонь и ныне не угас,
Бесовским осенён благословеньем.

Умом постигнуть это не дано –
Немало несуразного на свете.
Наветом очернённые давно,
Из века в век мы бродим по планете.

И видит Бог, безгрешен я вполне –
Не поддаюсь заманчивым искусам.
Но до сих пор в вину вменяют мне
Страдания распятого Иисуса.

2

Жизнь нас учит уму, преподносит уроки.
Час придёт – я пойму: возвращаюсь к истокам.

Я нашёл Божий храм, где всё дышит Востоком.
Я пришёл туда сам – возвращаюсь к истокам.

Ритмы древних молитв, свитка вещие строки,
Белоснежный талит – возвращаюсь к истокам.

Как немеркнущий свет – слово мудрых пророков.
Через тысячи лет возвращаюсь к истокам.

3

У времени плутаю под ногами,
В болоте вязну путаных дорог.
Гонимый беспокойными ветрами,
Ищу мой дом, ищу родной порог,

Где не стеснялся материнской речи
И чужаком никто назвать не смел,
Где зажигали праздничные свечи,
Благословив ниспосланный удел.

Там всё казалось сказочным спросонья...
Струилась печь заманчивым теплом.
А в маминых натруженных ладонях –
И свежий хлеб, и кринка с молоком.

Там юные весёлые рассветы
Нам обещали радость перемен.
Соблазны неизведанного «где-то»
Нас из родных выманивали стен.

Но нет конца дороге под ногами,
И я в пути нелёгком изнемог.
Гонимый беспокойными ветрами,
Ищу мой дом, ищу родной порог.

4

Когда звучит таинственный иврит
И души к откровению готовы,
Сдаётся мне, что с нами говорит
Загадочный всевластный Иегова.

Серебряным подобием руки
По строкам свитка кантор пробегает.
Напевное звучание строки
Из века в век хранит седой пергамент.

В нём мудрость вековечная живёт
И опыты давно ушедших предков.
А пог миру рассеянный народ
Хранит Завет – божественную метку.

5

Мы на грани живём
С грузом древних преданий.
Мы – на грани добра
И извечных страданий.

Мы – на грани эпох,
Мы – на грани столетий.
Мы минувшего времени
Скорбные дети.

Жернова, жернова...
Без пощады и сбоя.
Только память жива
И не знает покоя.

6

Вечер на Мёртвое море нисходит библейский.
Прячется солнце за линию гор Иудейских,
Напоминающих плоский резной силуэт.
И облака, чуть окрасившись в розовый цвет,
Как колдуны, навевают волшебные сны
И закрывают лицо грустившей луны.
Тайн нераскрытых и скрытых навеки полна,
Гостьей ночью является миру она.
Краски на море ещё продолжают игру,
Переплавливая мерцающий блеск в мишуру.
Вечер безмолвно на волнах солёных лежит...
Мёртвое море, а дьявольски хочется жить.

МИР БЫЛ ГЛУХИМ

Как много этих «Бабиных яров»
И в городах, и в маленьких местечках.
Людей невинных пролитая кровь –
Не ручеек, не озеро, не речка...
Мир был глухим в тот злополучный час,
Не видел слёз и не слышал рыданий –
Глухонемой: в нём божий дар угас,
Он не найдёт молчанью оправданий!

Признаюсь вам: с течением годов
Ещё сильнее чувствую утрату
Расстрелянных детей и стариков,
Оставленных на гибель супостату...
Мне сердце жжёт их пепел до сих пор,
И в сны приходят дорогие лица –
В глазах немой скрывается укор:
Кто допустил, чтоб так могло случиться?

БЛАГОСЛОВИ, ГОСПОДИ...

Уста мои молчанием светло...
Я б улетел, постылый и гонимый,
К загадочным стенам Иерусалима,
Но у меня надломлено крыло.

Благослови на щедрые дожди
Все небеса над скорбною стеною.
Свою судьбу не вижу я иною –
Горит любовь в измученной груди.

Благослови пустыню и поля,
И, Господи, пути мои земные,
И пусть уста заговорят немые,
И радостью наполнится Земля.

ИЕЗЕКИЛЬ*

Резвятся кони дикие в степи –
Страданиями душу укрепи:
Невольные участники расправы.
В безбожников вселился злобный дьявол.

Невежества кровавого урок –
И ныне спор неразрешимый длится...
С тоской смотрел наш терпеливый Бог
В безумством искорёженные лица.

Великомученик, святой Иезекиль!
Душа твоя на небо улетела...
В степи багдадской стелется ковыль,
Покоит степь растерзанное тело,

И плачет ночь слезинками росы,
И тень твоя бредёт по белу свету.
Пройдут столетья, годы и часы,
А голос твой живой не канет в Лету.

Ты бед людских и горестей певец,
Душа твоя не ведала покоя –
За тысячи страдающих сердец
Ты слёзы лил над каждою строкою,

Поведал о сомненьях и грехах,
Страданиях пленённого народа,
О чуде воскресенья на костях
В надежде вечной жизни и свободы.

**Иудейский пророк и проповедник
времён вавилонского плена (конец 6 -начало 7-го в. до н.р.),
противник идолопоклонства, за что был подвержен
жестокой казни: привязан к диким лошадям и разорван
на части. Автор книги, помещённой в Танахе и Библии.*

ВЕРНУЛАСЬ МУЗЫКА

Памяти композиторов Эдвина Шульхофа,
Виктора Ульмана, Гидеона Кляйна, Павла Хааса,
умерщвлённых нацистами в лагерях смерти.

Отвергнутых симфоний ряд,
 концерт с сонатами,
как будто пленные лежат
 под автоматами.
Фантазий прерванный полёт,
 квартет с сюитами,

Дуэты, трио... О, mein Gott!
И нет защиты им...
«Запретной музыке – молчать!»
Приказ: «В изгнание!»
На ней поставлена печать
врага Германии.
Не может музыка звучать –
кровавит ранами.
Не может музыка молчать,
как безымянная.
...Но вот пришёл последний срок
фантасмагории –
ворвался музыки поток
в аудитории!
Живущим ныне – не упрёк
в конфликте, в споре ли,
но полон горечи урок –
урок истории.

ГДЕ ТВОЙ ДОМ?

Яня Гефтер драться не умел. И когда он случайно оказался на глухой окраине родного местечка, юный задира сразу признал в нём чужеродно-го, бросился на него с кулаками и до крови разбил Яне нос. От неожиданности и обиды худосочный Яня бросился на крепыша, подмял его под себя на дорожной брусчатке и принялся неумело колотить. А тот изворачивался под ним, уклоняясь не столько от Яниных неуклюжих ударов, сколько от крови, которая лилась из его носа на конопатое лицо обидчика.

Яня драться не только не умел, но и не любил. Его с детства учили, что драться не-кра-си-во. И он усвоил это основательно, без какой-либо надежды избавиться от такого предубеждения. Но после этого случая какая-то обида поселилась в его душе и обосновалась в ней окончательно в первый же год войны, когда он понял, что к евреям отношение особое: их не любят, их убивают, им всегда надо чего-то бояться, им надо спасаться.

– Значит, мы какие-то особые, не такие, как все, – думал Яня. Ему было

неуютно и боязно оттого, что его лицо может кому-то не нравиться: не тот профиль, не те глаза. А имя? Он его так стеснялся, как будто публично совершил неприличный поступок. У него язык деревенел и не поворачивался произнести вслух своё имя: Янкель, когда вокруг так благозвучно слышалось: Ваня, Вася, Петя. Само имя его как бы говорило окружающим: чужак, не наш.

Война забрала у Яни отца, деда, бабушку и ещё несколько десятков других родственников. Взрослея, он пытался найти ответ на вопрос: Почему, почему так происходит? И не находил ответа. Он не знал своего языка, не читал в оригинале Шолом-Алейхема, Ицхока-Лейбуша Переца, но и в переводах они были замечательны. Его никто не учил петь еврейские песни, но редкие пластинки, чудом сохранившиеся с довоенных времён, трогали душу, будили в нём затаившееся еврейское естество.

Он и представить себе не мог, что ему придётся оставить ту землю, которую он по праву считал своей родиной. Ему всю жизнь вбивали в голову, что родина – это свято, её надо любить, любить бездумно и бесконечно. И Яня любил, любил искренне до тех пор, пока не понял: его любовь к родине – безответная: он её любит, а она его – нет. И уже через годы, оказавшись в стране, которая раньше не вызывала у него никаких светлых чувств, он задаёт себе всё тот же больной вопрос: Где мой дом?

Где моя родина?

Его детская память сохранила картину более чем шестидесятилетней давности: его дед, надев тфиллин и облачившись в талес, усердно молится, прося у Бога спасения. Но, как видно, его молитва не дошла до Всевышнего. Поэтому Яня решил восстановить прервавшуюся связь. Теперь, выходя к Торе, он не стесняется своего имени. Он – Янкель бен Моше. И среди своих он нашёл своё место. Когда он возвращается из синагоги домой, в его душе ещё долго звучат мотивы молитвенных песнопений, которые прошли неизмеримо долгий и трудный путь вместе с еврейским народом в поисках своего места.

Марк Шейнбаум

ЯРЫНИН ГРЕХ

Говорят, что в любом селе должен жить хотя бы один праведник, без которого не стоит село.

Возможны ли там грешники, об этом не сказано.

В селе, о котором здесь речь, в тот день нашёлся всего один. Вернее не грешник, а грешница.

Накануне в соседнем райцентре фашисты расстреливали всех евреев.

Отсюда их никуда не отправляли. Было бы накладно. Больно глухие здесь места, ни дорог, ни мостов. Райцентр был крохотным, и евреев в нём было немного: ремесленники, служащие контор, с пяток бывших лавочников. Лавки отобрали у них года два тому назад, когда в эти края пришла, согласно пакту Молотова-Риббентропа, советская власть. Были среди евреев ещё старенький фельдшер, аптекарь и раввин, который при «советах» потерял официальный статус. Погибли все: они, их жёны, дети и немощные старики. Всех собрали в молельном доме (здесьняя синагога сгорела в первые дни оккупации), потом вывели за околицу и расстреляли.

Местный «голова» объявил, что мародёрства не допустит. Менее ценные еврейские вещи, те, которые не перейдут в собственность рейха, на следующий день смогут получить желающие, но лишь с его одобрения в каждом отдельном случае. Весть об этом в тот же день докатилась до села. К райцентру отсюда не более десятка километров по песчаной дороге. На телеге за час-полтора, а если лошадка резвая, то и быстрее добраться можно. Слух о расстреле евреев вызвал у большинства здешних жителей оцепенение. Больно уж страшным это представлялось: ведь и детей тоже!..

Многие из расстрелянных были крестьянам хорошо знакомы. Кому-то столяр делал окна для нового дома, кому-то что-то шил портной, которого обычно привозили в село на время, и он кроил и шил для многих; лавочник кому-то в долг отпускал гвозди, за которые уплачено так и не было. Многим был знаком готовый оказать помощь, фельдшер, терпеливо объяснявший, как принимать лекарства, и тоже дававший в долг аптекарь. Были среди здешних крестьян и антисемиты. Где их нет? Но и они как-то не решались отправиться в райцентр за вещами убитых.

Ярыну к антисемитам причислить вряд ли можно было. Своё отношение к евреям, если её спросить об этом, она вряд ли чётко сформулирует. Скорее, оно было нейтральным. То, что с ними случилось, и у неё вызывало какое-то ощущение беспокойства, хотя любая власть знает, что делает.

«А кто распял Христа? Ерунду говорила Солониха, что Христос был евреем. Дура она! Он, конечно же, наш! Они бы не распяли, они своих не обижают. Это известно всем. А добру всё равно пропадать не следует. Достанется не мне, так другим». Разговор с двумя соседками о совместной поездке в райцентр успехом не увенчался. Солониха это отвергла сразу, Катерина немного поколебавшись: «Грех это, да и кровь может остаться на одежде. Она трудно отстирывается» ...

Когда Ярына на рассвете следующего дня засобиралась в дорогу, муж даже лошадь не стал запрягать. Пришлось самой. Не пролезала лошадиная голова в хомут, а потом «Машка» не хотела становиться в оглобли. В здешних местах лошадей не запрягали в шлею, что было бы куда легче, а Ярына почти никогда сама не запрягала. Кстати, колхозов в здешних местах ещё создать не успели и лошади у людей были свои. Муж, проснувшись от её суеты, зло выругался, чего за ним раньше не замечалось, и сказал, чтобы она хоть дочерей с собой не брала. Больше никто из села в тот день в райцентр не собрался.

Вернулась Ярына к вечеру. Несколько баб на скамейке напротив её дома сосредоточенно щёлкали семечки. Сидели они, видно, давно, хотя погода не баловала: была уже поздняя осень. Явно ждали её возвращения. Никто ни о чём не спрашивал. На возу виднелись две табуретки, шкафчик и какие-то тряпки, прикрытые домотканым рядом. Ярына открыла ворота и въехала во двор. Всё это совершалось в полном молчании. Скамейка напротив дома тут же опустела.

Спустя нескольких дней, немцы открыли ненадолго школу в селе. Ярынина тринадцатилетняя дочь Люба пришла в школу в пальто, которое, по здешним понятиям, можно было считать шикарным. Многие дети были одеты в домотканые куртки. Пальто было Любе длинноватым, и рукава тоже заметно перекрывали ладошки.

На первом же перерыве пальто стало предметом всеобщего внимания. Почти все девочки, да и многие мальчики подходили и с деланной заинтересованностью щупали «материю». Кто-то спросил, хорошо ли отстиралась кровь, кто-то предположил, что где-то в пальто может быть дырка от пули, и просил её показать. В школу Люба больше не пошла. Школу, правда, вскоре закрыли власти. Не было денег и учителей.

В дом к Ярыне реже стали заходить соседки. Даже «за огнём» не приходили. Спичек ведь не было, и соседи снабжали друг друга на расгопку жаром из печки.

Сразу же после освобождения села Советской армией мужа Ярины мобилизовали. Спустя нескольких месяцев пришла «похоронка».

Ярына осталась вдовой с двумя девочками. Ещё шла война. Младшей, Олесе, было двенадцать, Любе – пятнадцать. Как-то они втроём собрались пешком в город на базар, поменять продукты на соль и мыло. Пешком, потому что лошадей реквизируют то ли партизаны, то ли проходившие воинские части, а, может, и бандеровцы. Такое случалось часто в этих местах. Вышли они из дому поутру и, когда солнце было в зените, устав, сели отдохнуть и перекусить в стороне от дороги. В какой-то момент Люба встала и только успела отойти на пару шагов от родных, – раздался взрыв. Мина была мощной. Любы не стало спустя несколько минут, Олесе в городе ампутировали ногу выше колена, у Ярины на всю жизнь осталось изуродованным лицо.

«Это за Ярынин грех», – говорят в селе и сейчас. Впрочем, никто объяснить не может, в чём были грешны её дочери. Не могут объяснить также, в чём была грешна девочка, которой прежде принадлежало пальто. И вообще, сколько грешников в селе должно приходиться на одного праведника?

НЕ НАСТУПИТЕ НА МОНТЕНЯ

«Что интересное ты сейчас читаешь?» – спросил меня доктор Шапиро у входа в больницу, где мы работали. «Ну, как вам сказать: читаю какую-то ерунду и вот уже почти неделю не решусь её бросить», – ответил я. «Что ты, в самом деле: женщину и книгу, если она не по душе, бросать следует немедленно!» – последовал совет.

Моисей Израилевич Шапиро принадлежал к тем врачам, которые окончили институт до войны и были, как правило, её участниками, так что война во многом наложила на них свой отпечаток. Мы, врачи послевоенной генерации, относились к ним с уважением, порой даже с обожанием. Они казались нам, и, чаще всего, были, носителями той прежней культуры, которая всё больше уходила куда-то в небытие. Моисей Израилевич, прекрасный врач-невропатолог, обладал к тому же широкой эрудицией в самых неожиданных областях знаний: греческая мифология, астрономия, история Древнего Востока, изобразительное искусство, литература – с древности до последних номеров журнала «Новый мир». Речь его, всегда краткая, ёмкая, в строгом согласии с логикой, доставляла истинное наслаждение. Авторство афоризмов, которыми она изобилвала, оставалось неясным: то ли он сам их сочинял, то ли черпал из каких-то, только ему ведомых источников, отбирая самые блестящие.

Всевозможные конференции с его участием сулили всегда интересный взгляд на любую проблему, неожиданный поворот дискуссии, которая нередко прерывалась взрывами хохота. Своё выступление после доклада одного из начальников о перспективах развития здравоохранения в области он однажды начал так: «От воздушных замков пока ещё никто не нашёл даже развалин». Поздравление коллеге, умудрившемуся жениться в шестой раз, закончил сентенцией: «Чем опыт печальнее, тем радужнее иллюзии». Прослушав на одной из конференций длиннющий и скучнейший доклад, съязвил: «Научный доклад, как дамская юбка, должен обладать достаточной длиной для соблюдения приличий, но в то же время должен быть достаточно коротким, чтобы вызывать интерес».

Санитарке, что-то недоделавшей во время ночного дежурства и пытавшейся это скрыть, выговор закончил так: «Нужно всегда говорить правду... ну, допустим, не всегда, но один раз всё же можно».

О его библиотеке ходили легенды. Казалось невозможным зайти в книжный магазин и не застать там Моисея Израилевича. В его квартире из-за обилия книг почти не оставалось места для обычных предметов обихода. На полках стояли многочисленные издания, вызывавшие нескрываемую зависть у библиофилов: Шекспир на английском, соседствовал с Мицкевичем на польском, и Шолом-Алейхемом на идише. Вообще, книги на иностранных языках и на идише составляли довольно значительную часть его собрания, что в те времена признаком благонадёжности не служило.

В годы хрущёвской оттепели и позже доктор Шапиро заведовал отделением областной больницы и был сугубо штатским человеком, но многие помнили его в военной форме. В годы войны существовало клише, которое считалось присущим внешнему виду военного врача: очки, согбенность фигуры и шаркающая походка, обусловленная, как правило, кирзовыми сапогами на два размера больше необходимого. Многие врачи в военной форме сохраняли в себе неистребимую «штатскость». Их порой считали баловнями судьбы: передовая чуть дальше, дисциплина чуть мягче, спирта немерено, да и женский персонал в невероятном изобилии. Это расхожее мнение не соответствовало действительности. Круглосуточная изнуряющая работа, потоки искромсанных тел, непрерывные бомбёжки, вражеская артиллерийская обработка ближнего тыла, где и располагались госпитали, – всё это не создавало даже иллюзии райского житья.

Моисей Израилевич провёл всю войну на фронте и, начав старшим лейтенантом, окончил полковником – начальником крупного госпиталя. Его безупречная выправка, импозантная седина на висках – всё заставляло строевых офицеров невольно вытягиваться и подносить ладонь к козырьку, хотя обычно они военных врачей такой чести не удостоивали, – мол, не требуется приветствовать по уставу.

После демобилизации Моисей Израилевич получил должность начальника и одновременно невропатолога санитарной части МГБ в одном из областных центров.

Он по-прежнему носил полковничьи погоны, изменился только цвет околыша. Работы было много: нервная система чекистов и особенно их жён оказалась почему-то расшатанной. А коллеги – невропатологи города очень быстро признали в нём хорошего специалиста и стали приглашать на всевозможные консультации и консилиумы.

В январе 1953 года в Москве стало набирать обороты «дело врачей – отравителей».

На периферии стремились не отстать от столичных «органов».

В одну из ночей к Моисею Израилевичу пришли с обыском. Возникла несколько странная ситуация, которая обуславливалась двумя обстоятельствами: ордер на обыск был, но не было ордера на арест, а, наталкиваясь на висевший на спинке стула полковничий китель хозяина квартиры, все проводившие обыск «чекисты» испытывали некоторое неудобство, потому что старший среди них был только капитаном. А один из ночных гостей вообще не поднимал глаз: его сына Моисей Израилевич спас от менингита.

По всем этим причинам в действиях чекистов чувствовалась нервозность, и они тайком друг от друга пытались даже извиняться за причинённые неудобства, дело своё, однако, продолжая.

К утру книгами был устлан пол даже в коридоре и на кухне.

Моисей Израилевич воспринимал происходящее внешне стоически. Только один раз спокойствие ему изменило, и он воскликнул: «Лейтенант, не наступите на Монтеня!».

Ночные гости прихватили с собой все книги, напечатанные на идише и латинским шрифтом. Шекспир на английском был арестован до решения вопроса о том, не был ли Шекспир сионистом. Из книг на русском языке были прихвачены «Золотой телёнок» и «Двенадцать стульев», не так давно изданные и в очередной раз запрещённые. Когда ночные гости уехали, Моисей Израилевич не сразу поверил, что вместе с книгами не прихватили и его. Пришлось надевать свою чекистскую форму и идти на работу.

Его сразу же вызвали к начальнику отдела кадров. Тот сообщил, что полковник Шапиро уволен как лицо, не заслуживающее доверия, и вообще «ждем вскоре укажут, где именно находятся для них места».

Дальнейшие события разворачивались в кабинете по явно незапланированному сценарию. Моисей Израилевич подошёл поближе, от-

писал «кадровику» звонкую оплеуху и, откозыряв, спокойно удалился. Онемевшее от неожиданности начальство отреагировало не сразу. Шапиро, миновав секретаршу и выйдя в коридор, услышал несущийся ему вдогонку визг потерпевшего. С работы его, конечно, уволили, из партии, естественно, исключили, но почему-то так и не арестовали, в чём можно усмотреть одну из загадок того времени.

После смерти Сталина он стал, уже в штатском обличье, работать главным невропатологом области. Часть книг ему вернули, часть исчезла бесследно. «Двенадцать стульев» и «Золотого телёнка» пришлось покупать поновью, после того как их издание было в очередной раз разрешено.

Вскоре его начали усиленно приглашать вернуться в партию и предлагали написать заявление о восстановлении в её рядах. Былая вера в партийные идеалы пошатнулась у Моисея Израилевича, пожалуй, уже давно, да и в логике ему нельзя было отказать. Он заявил, что как-то не припомнит, что писал заявление о выходе из партии, и поэтому не видит надобности писать о восстановлении. Тогда ему принесли новенький партбилет прямо в кабинет, хотя заявления он не написал. Особой радости он по этому поводу не выказывал. На поздравления ответил довольно рискованной остротой: «Когда невеста второй раз выходит замуж за одного и того же жениха, первая брачная ночь несколько теряет в привлекательности».

Уже в середине восьмидесятых мы, несколько дежуривших по различным отделениям больницы врачей, собрались вечером проводить Моисея Израилевича.

Он лежал в реанимации с третьим инфарктом. Нашему посещению обрадовался, но не то философствовал, не то мрачно-шутит: «Жизнь была бы вполне переносимой, если бы не мелкие неприятности, вроде инфарктов. Впрочем, инфаркты не следует принимать близко к сердцу. Жаль только, что из жизни никто ещё живым не выбрался». Под утро его не стало.

Михаил Эненштейн

МАЙНЕ ХАЕС, ИХ ГЕЕ ЦУ ДИР*

Мендель Ратковский был «ломовой лошадьё». Он поднимался до рассвета, выходил во двор и долго откашливался. Затем внимательно осматривал тачку, прикованную на ночь к металлическим перилам подвала. Гремя цепью, отмыкал амбарный замок и выкатывал ее за ворота. Разминал пальцы, набрасывал на плечи кожаную шлею, впрягался в оглобли и тащил тачку к вокзалу. На привокзальной бирже выстраивалась очередь таких же «экипажей» в ожидании клиентов: крестьян, привозивших овощи и фрукты на городские базары, мешочников всех мастей и рангов, разного торгового люда с бесконечным количеством узлов, чемоданов и баулов, горожан, перевозящих домашний скarb, дрова и уголь.

Мендель был хозяином. Имел собственный извоз, что-то среднее между арбой и двуколкой, запасное колесо, приспособления для облегчения работы, жбан колесный мази. А «ломовой лошадьё» был он сам – Мендель Ратковский, шестидесяти лет отроду.

До войны он работал в одной из контор гужевого транспорта и другого дела не знал. Пара лошадей Менделя всегда была сыта, ухожена, правильно подкована, а копыта покрыты чёрным пеком. На сбруе ярко горели начищенные бронзовые пряжки, а соломенные шляпы с перьями на лошадиных головах придавали им беспшибашную элегантность. Посвоему элегантен был и потомственный биндюжник Мендель Ратковский – широкоплечий блондин с голубыми глазами, подпоясанный красным кушаком. Он гордо восседал на облучке своего биндюга, выкрашенного в яркие тона. Особым шиком у биндюжников считалось умение править

лошадьми на городских улицах одной рукой. Это мог себе позволить только мастер. В другой руке, лежавшей на колене, небрежно удерживал кнут замысловатого плетения с кнутовищем вишнёвого дерева, отполированного ладонями нескольких поколений биндюжников. Он достался ему от отца. Впрочем, Мендель им никогда не пользовался. Кнут, так же как красный кушак и яловые сапоги, смазанные касторовым маслом, являлись обязательными атрибутами экипировки одесского биндюжника. Когда лошади на подъёме уставали, Мендель не стегал их кнутом, а спрыгивал с облучка, подпирал колесо вагой и подходил к лошадиным головам. Раздуывая их, что-то ласково говорил, угощая то хлебом, то кусочками сахара, и лошади, передохнув, усердно тащили биндюг дальше. Угощал их биндюжник каждое утро перед работой. Жили они дружно – Мендель, Орлик и Козявка. Если он задерживался в конторе, лошади ржали беспокойно тычась мордами в ограждение клетки.

Когда Мендель заболел, что было очень редко, на конюшню с очередным угощением для лошадей приходила его жена, Хая. Чувствуя её спокойную силу, лошади становились послушными, позволяли себя запрячь, и сменный возчик спокойно уезжал на работу. Хая была некрасива. Гордая и независимая, она не отвечала стандартам женской привлекательности, принятым на Молдаванке. Но от её загадочной улыбки и взгляда невозможно было оторваться. И уже не замечались ни жесткие непослушные волосы, ни худощавая нескладная фигура, ни даже наряды, далёкие от существующей моды. Каждый вечер она встречала мужа у ворот. А он, увидев её издалека, кричал: «Майне Хаес, их гее цу дир!»

Затем подхватывал её на руки и через весь двор нёс в дом. Опаленный любовью, он не чувствовал тяжести и не замечал удивлённых взглядов соседей. Приходя с работы, Мендель аккуратно вешал кнут на гвоздь у дверей, а под ним ставил, пышущие жаром тяжёлой работы сапоги. Это значило, что день трудов закончен.

А на плите доваривался фасолевый суп с говядиной и уютно пел закипающий чайник.

И так продолжалось семнадцать лет. Хая, была первой и единственной женщиной, которую знал и любил Мендель. Дома она помогала ему разуться, вымыть ноги, массировала спину, покрытую багровыми рубцами. Это были следы плена в первую мировую войну. Австрийский

офицер обходил пленных российских солдат, отбирал евреев и приказывал избивать их шомполами.

То ли это была инструкция, то ли просто прихоть антисемита, никто не знал. Потерявшего сознание солдата оттаскивали к своим и, если ему удавалось выжить, о нём забывали, если же он умирал, приказывали хоронить с музыкой.

Массируя спину, Хая что-то ласково шептала мужу, и они счастливо улыбались. Их дом был всегда полон соседей. Они приходили вечерами посплетничать, обменяться дворовыми новостями, поиграть в лото.

Всем было тепло и уютно в доме, где росли два сына – старший Даниил, ученик ремесленного училища, и младший Лёнька – школьник, недавно вступивший в комсомол.

Всё рухнуло 22 июня 1941 года. Началась война. С первых же дней Мендель был мобилизован в трудармию и отправлен на восток. Сразу после оккупации города по доносу был арестован Лёнька. Его долго пытали, требуя выдать подпольную комсомольскую организацию, о которой он ничего не знал.

Вначале зимы его, обнажённого, вывели на мороз и обливали водой до тех пор, пока он не превратился в ледяной столб. До пятнадцати лет он не дожил трёх месяцев.

Даниил был сожжён в Сабанских казармах вместе с тысячами других евреев.

Хая расстреляли в районе Доманёвки. Она была спокойна, словно не замечала обезумевших от страха людей, не слышала стонов умирающих и трескотни автоматных выстрелов. Выпрямившись, не стесняясь наготы, она презрительно смотрела в глаза фашисту. Бормоча проклятия, бандит показал рукой в сторону. Пытаясь понять значение его жеста, Хая повернула голову, только тогда он нажал на спусковой крючок.

После войны, узнав о гибели семьи, Мендель постарел лет на двадцать, стал молчаливым, угрюмым и никогда не улыбался. В свой дом он не вернулся. Каким-то образом купил тачку и стал зарабатывать на хлеб извозом. Еда, одежда, погода мало его интересовали. Зимой он не замечал позёмки, гнавшей по улицам языки снега вперемишку с листьями, хороводившими у его солдатских ботинок. Летом – ливней, хлеставших по непокрытой голове, заползавших за воротник. Обычно он сидел в

одной и той же позе, низко опустив голову, плотно сжав губы. Изредка ему почему – то вспоминался голос отца, очень нежно говоривший что-то жене. Даже не сам голос, а чувства, переполнявшие его детское сердце. Это были чувства и любви к родителям, к дому и даже к лошадям, на которых работал отец. Нежности не были приняты в той среде, где он рос. Его окружали суровые люди, тяжело трудившиеся и не вылезавшие из бедности.

Менделя угнетала и мучила мысль о гибели жены и детей. Будто судьбу его семьи не разделили десятки тысяч других семей, погибших в этом городе. В своем горестном эгоизме он не воспринимал рассказы других людей, таких же несчастных, и только раздражался. Мендель не мог примириться со своим горем и потому жил как бы в двух измерениях. В одном – каждодневная работа до седьмого пота, до изнеможения. Он выполнял её с равнодушной отрешённостью. В другом – он как бы жил в своей семье: уходил на работу, возвращался и Хая, как всегда, массируя ему спину.

Когда гружёная тачка выкатывалась на трамвайную колею, и затихал грохот колёс, клиенты слышали его бормотание. Он с кем-то беседовал. С кем? Можно только догадываться. Был солнечный весенний день. В высоком голубом небе наперегонки неслись лёгкие облака. Аромат сирени окутывал город, а тюльпаны причудливой многоцветной лентой опоясывали привокзальную площадь. Мендель лежал на своей тачке, его лица не коснулись весенние краски, а поблекшие глаза, как обычно, смотрели в одну точку. Вдруг он расправил плечи, будто сбросил тяжёлый груз, глубоко вздохнул и улыбнулся. Лицо его помолодело, стало счастливым, словно встретил он наконец-то человека, которого ждал и любил всю жизнь. Он пытался что-то сказать, но не смог. Стекленеющие глаза становились синими и глубокими, как было синим и глубоким небо, опрокинутое над ним. Никто не слышал как ясно и отчётливо он прошептал: «Майне хаес, их гее цу дир*»...

Пожилой врач скорой помощи, взглянув на его лицо, сказал:

– Он умер счастливым, а это не каждому дано.

* «Моя прелесть, я иду к тебе»

РАЗОРВАННЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК

Жидовская Морда лежала на своём обычном месте слева от двери. Молдаван, расположившись в продранном кресле, не спускал с неё влюблённых глаз.

Пользуясь отсутствием их квартирной хозяйки, он хотел приблизиться к ней, но встретил предупреждающий взгляд, не сулящий ничего хорошего.

Будучи много старше тёмноволосого красавца, она не любила его, оставаясь холодной к проявлениям его бурной страсти, и не принимала ни ухаживаний, ни еды, которую он постоянно приносил. Жидовская Морда, так называла её хозяйка, любила её безответной, необъяснимой, жертвенной любовью и готова была отдать за неё жизнь, получая взамен лишь пинки и зуботычины.

Каждый вечер хозяйка зазывала Молдована к себе, угощала, поглаживала, шептала нежные слова, на которые способна старая любящая женщина. Он был последней, а возможно, единственной любовью в её жизни.

Молдаван только позволял себя любить и с отвращением переносил её ласки. Съев угощение ворчал, вырывался из её рук и возвращался в комнату, где лежала Жидовская Морда, изнывавшая от любви к хозяйке и жестоко ревновавшая её к Молдавану.

Она лежала на подстилке, закрыв глаза: «как несправедливо устроена жизнь, какой ужасный неразрывный треугольник начертала судьба. Я люблю её, – думала Жидовская морда, – хозяйка любит Молдована, а он любит меня»

Её сердце сжималось от тоски и жалости к себе, и оттого, что этот треугольник скорее походил на замкнутый круг, по которому текла жизнь в этой квартире.

Хозяйка квартиры, баба Неля, была наследственной, биологической антисемиткой и непререкаемым авторитетом по еврейскому вопросу среди своих товарок. По вечерам у ворот, сидя на маленьких скамеечках, как куры на насестах, соседские старухи молча слушали сентенции доморощенного оракула и только многозначительно кивали головами, когда она изрекала знакомую им фразу: – Под корень их усах, под корень. При этом единственные два зуба, уродливо выпирали из брызжущего слю-

ной рта. Загнутый вверх подбородок и торчащие зубы образовали разорванный овал, напоминающий клюв отвратительной птицы из фильма ужасов.

Она не знала, за что ненавидит евреев, но кое-какие мысли на этот счёт имела. Сидя на скамейке в сквере, недалеко от дома, она всё думала, думала вслух, раскачиваясь и скрежеща остатками зубов: – Почему жидам всегда хорошо? Плохо здесь стало, пенсий не хватает, врачи платные. А они хрен положили, бросили нас, и тикать кто куда. А там сразу становятся миллионерами. Дураки, мы работали на них, учили, квартиры давали. Хорошо моих жидовичей поубивали, а то бы и сейчас жила в коммуналке. Сама баба Нея за свою долгую жизнь проработала два месяца медсестрой в доме малютки, но была изгнана за воровство и издевательства над детьми.

– Плохо постарался Гитлер, – продолжала думать баба Нея, – плохо. Под корень их усех нужно было, под корень. А ещё говорят, что немцы красиво работают. Какая же это работа, вон их сколько осталось? Опять же Сталин. Бонабак, он и есть бонабак. Только хотел их усех под корень, чисто усех, взял да умер.

Предаваясь волнующим ее мыслям, она пыталась вспомнить, скольких же евреев выловила её покойная мать, когда во время оккупации надевала солдатскую форму своего сожителя – румынского солдата и вместе с ним на мотоцикле выезжала на улицы города охотиться на евреев, на тех несчастных, которым удавалось ускользнуть во время облав. Перекрасив волосы, сменив одежду, сбрав усы или наклеив бороды, они прятались у знакомых, в разрушенных домах, в подворотнях, в катакомбах, пытались выжить. Вот здесь-то и был простор для её самоутверждения. Это не была её служба, она это делала для удовольствия.

Распознав знакомых евреев, выпрыгивала из мотоциклетной коляски, хватала свисток, висящий на шее, сзывая патрулей. Вцепившись в свою жертву, произносила лишь одно слово подбежавшим солдатам: «жидан», и ехала дальше.

– Мало выловила старая, мало, – сбилась со счёта баба Нея. А старой тогда ещё и тридцати не было. А как хорошо было бы усех их под корень, усех, – как заклинание повторяла баба Нея.

Она бы ещё долго предавалась воспоминаниям, но вдруг почувствовала

резкую боль в левой части груди и под лопаткой. Левая рука быстро немела. Тяжёлый липкий туман заволакивал сознание. Она судорожно хватала воздух широко открытым ртом, но дышать не могла. Правой рукой пыталась достать таблетки из своей необъятной сумки, но рука уже не повиновалась. Повалившись на скамью, она поняла, что умирает.

Бог вспомнил о справедливости – баба Нея скончалась. В последние минуты она думала только о Молдаване и его судьбе.

Новые хозяева выгнали Жидовскую Морду и Молдавана на улицу. Бездомные, они стали жить в подвале, но голод гнал их на улицу в поисках еды.

Однажды Молдаван исчез, но к вечеру вернулся и притащил кость от копчёного мяса. Она с жадностью набросилась на нее, но неожиданно получила пинок ногой, отбросивший её на несколько метров. Будете здесь мне мухоту разводить, – прошипела дворничиха и, подхватив, выпавшую кость лопатой, швырнула её в мусорник. Молдаван бросился на дворничиху, но тоже получил удар сапогом в живот. Рано утром, едва придя в себя от побоев, Молдаван и Жидовская Морда выскочили за ворота и побежали к Привозу искать своё собачье счастье.

ЭШЕЛОН

Мишке мучительно хотелось есть. Последние два дня мама кормила его крошками сухарей размоченными в воде. Ей удавалось вытряхнуть их из пустой торбы.

Шестые сутки на объездном пути у маленького полустанка, затерянного в Сальских степях, стоял эшелон с беженцами, который был сформирован, в основном, из открытых платформ, редко перемежаясь двусосными теплушками. Издалека, в жарком мареве, он казался караваном верблюдов, дремлющих на железнодорожных путях. Между вагонами, на протянутых веревках, висели плохо выстиранные пелёнки, исподние рубахи и подштанники. Они едва шевелились от слабого ветра, как белые флаги капитуляции. У некоторых вагонов горели маленькие костры. В узких, высоких вёдрах что-то варили счастливчики, ещё имевшие кое-какую провизию. Они стояли у своих немудреных очагов, замороженные тощим запахом еды и не могли оторвать взгляд от булькающего варева. В руках люди держали тряпки, чтобы успеть подхватить горячие вёдра и

искочить на подножки отходящего состава. Никто не знал, когда двинется эшелон: ни пассажиры, ни машинист паровоза, ни начальник эшелона. Это могло случиться через минуту, через час, через неделю, или вообще не случиться. А мимо, на Восток, проносились санитарные поезда и составы с заводским оборудованием, а на Запад шли воинские эшелоны.

Мишка брёл вдоль вагонов и пытался не заглядывать в кипящие ведра, но помимо его воли голова поворачивалась в ту сторону. Ноздри втягивали запах еды, а в своём воображении он видел себя с ложкой и даже ощущал вкус обжигающей похлёбки. Мишка думал о том, что в воинском эшелоне, который только что промчался мимо, уже обед и красноармейцам наливают в железные котелки суп, а в крышки накладывают жирную кашу. Он присел у насыпи, подтянул колени к подбородку и закрыл глаза. О чём бы Мишка ни думал, мысли всё равно возвращали его к еде. Они, мысли, летели к новогоднему столу, когда папа приносил из портового магазина охотничьи сосиски, копчёную скумбрию, крабы. К ёлке, где в окружении свечей сквозь ветви проглядывали конфеты в ярких фантиках и оранжевыми фонариками светили мандарины. Мишка сильнее зажмурил глаза и вдруг почувствовал запах именинного торта, его всегда пекла мама в день рождения. Он протянул руки и быстро открыл глаза, но.... Вдоль насыпи полз дымок от костров, и тянуло коровьими лепёшками. И ещё, ему до дрожи, до судорог в животе было жалко ту довоенную манную кашу. Каждое утро мама варила для него, а он при случае, когда мама отходила к окну, выплёскивал в сорное ведро, за что получал по щекам. От этих мыслей рот наполнялся слюной, в животе урчало, булькало, и ещё сильнее хотелось есть.

Сегодня утром Мишкина мать опять ходила к начальнику поезда, чтобы задать всё тот же вопрос:

– Когда мы, наконец, поедим?

Положив локти на толстую доску поперёк двери персональной теплушки, покачивая головой, он ответил:

– Не знаю, милая, не знаю.

– У нас есть нечего, дети умирают!

– Знаю, милая, знаю.

– А фашисты далеко?

– Не знаю, милая, не знаю.

– Если они придут, нас всех перестреляют!

– Знаю, милая, знаю.

– Так что же нам делать?

– Не знаю, милая, не знаю.

* * *

Человек в военной форме, с синим околышем на фуражке, топал ногами и кричал на начальника поезда, то и дело, вытаскивая пистолет из рыжей кобуры:

– Да я тебя укуку, укуку на всю жизнь! Нет!... Я тебя лучше кончу, некогда мне с тобой валандаться! – гремел военный, – говори, кто здесь зачинщик? Кто бузит? Кому не терпится драпануть? Поезд долго стоит!? Кого мы вперёд пропустим: наших доблестных воинов или эту вонючую хеврю? Живучие они, ещё с девятьсот пятого года живучие! Покажи, говорю, по-хорошему! Небось, какой-то паршивый теллигент в очках, мать его... шибко умный! Говори кто, буду кончать его или тебя, если не покажешь!?

– Да не найду я его, товарищ уполномоченный, и не мужик это вовсе, а бабы... дети-то голодные. А не приведи господь, фашист прорвётся, – бледнея, плачущим голосом, лепетал начальник поезда.

– Что, панику сеешь, пораженец!? – во всю глотку заорал чекист, – кому продался, кому, кому, говори? Особист выхватил пистолет из кобуры.

Серый, как портянки, начальник поезда от страха упал на топчан. Под ним что-то звякнуло. Чекист умолк и прислушался. Он приставил ствол пистолета к груди дрожащего начальника поезда и завопил: – Что везёшь, гад? А ну покаж! Покаж, говорю!

Прижав коленом насмерть испуганного человека, он вытащил из кармана обрывок верёвки. Трясущейся рукой начальник поезда достал из-под топчана стеклянную четверть, наполовину заполненную мутной жидкостью. Глаза особиста потеплели, от блаженной улыбки щеки покрылись сеткой морщин. Начальник поезда быстро уловил перемену в настроении уполномоченного.

– Горе-то, какое свалилось на нашу Социалистическую Родину, – твёрдо сказал он, – но скоро мы погоним врага и добъём на его территории. Правда, товарищ уполномоченный?

– Правда, правда! – сказал особист, не спуская глаз с четверти.

– Вот за это нужно бы выпить, – предложил начальник поезда, – всё не решался вас угостить, – добавил он и поставил самогон на топчан. Особист вытащил из вещмешка буханку хлеба, две луковицы и большой кусок сала. Задвинув дверь теплушки, уселся на ящик и придвинул его поближе к бутылки. После второго стакана разомлел.

– Я тебе так скажу... кумекать нужно маленько. Говорят, что Гитлер пошёл на нас из-за комиссаров и евреев, но я не верю, и ты не верь. Если что, товарищ Сталин подаст намёк, понял? Он выпил ещё стакан. Лицо стало красным, слова застревают на языке, а голова клонилась к груди. Боднув головой, он промямлил:

– Тикают усе, а нам, чекистам, куды податься? По правую руку фашист, – он неуверенно показал вправо, – а по левую... – особист задумался и, махнув рукой, добавил, – да где ж нас любить? Вот и казачки жратву к поезду не несут. Заразу, говорят, боимся подхватить. Думаю, брешут, стервы. Крутись здесь с вами, разбирайся... Мне назначено за вами доглядать. А то как же, за вами не доглядай, так быстро скурвитесь. Он снова боднул воздух и мутными глазами уставился на начальника поезда.

– Скурвишься же, вражина, а! – он стукнул кулаком по доскам, и его голова стала медленно клониться к топчану.

– Обижаете, товарищ уполномоченный, – плачущим голосом сказал начальник поезда и быстро выдернул стеклянную бутылку из-под слетевшей фуражки с синим околышем.

– Знаю, чё говорю, – пролепетал чекист, и ткнулся головой в доски. Уже лежащая голова сказала:

– Мне «сам», – он с усилием показал пальцем в потолок, – сказал: – не бойсь, Иван, мы всем нужны, так что ставь к стенке любого, по своим понятиям.

* * *

Мишка продолжал брести вдоль состава. У самой насыпи он увидел нескольких беженцев, стоящих у ямы. Слышался плач. Рядом лежал большой белый сверток. Хотя на долгом пути часто случались похороны, Мишка не мог к этому привыкнуть и смертельно боялся покойников. Быстро обогнув это место, он побежал, не разбирая дороги, а перед его глазами маячил силуэт человека, завернутого в белую ткань. Мишка остановился лишь тогда, когда наткнулся на сидящего старика в чёрной

одежде и маленькой шапочке на макушке. Искривленные подагрой пальцы обхватили рукоятку палки, которая стояла между колен и служила опорой для потрепанной книги с закорючками вместо букв. Старик читал её шёпотом, слегка покачивая головой. Белая борода и очки делали его похожим на большую, мудрую птицу, сидящую на ветке. Рядом молодуха ложкой кормила маленькую девочку с тёмными кудряшками. Мишка проглотил слюну и уставился на ротик ребёнка. Голодные спазмы разрывали его внутренности. Он знал, что заглядывать в рот плохо, но ноги приросли к земле, глаза расширились, а ладони судорожно разминались, готовые вырвать ложку с едой.

– Иди мальчик, иди, – сказала женщина. Мишка не мог двинуться с места.

– Что тебе нужно, мальчик, иди себе, иди!? – продолжала она. Старик оторвался от книги и посмотрел на неё поверх очков:

– Готыню¹, моим врагам! Она спрашивает, что ему нужно? Дитё хочет кушать, дай ему пару ложек.

– Не дам, – заверещала молодуха, – у нас уже ничего нет, мы скоро все умрём с голоду, все!

– Малхомовэс²! Я сказал, дай дитю пару ложек, оно еле дышит. Если мы все умрём, значит на то его Господня воля, но зачем мальчику умирать первым? – проскрипела мудрая птица и уткнулась в толстую книгу. Старик не любил сноху и терпел её ради внучки.

Женщина не могла послушаться свёкра и нехотя протянула ложку с едой. Бережно, двумя руками, Мишка поднёс её к губам и маленькими глоточками быстро проглотил содержимое. Глаза его горели от счастья и благодарности. Молодуха протянула ещё одну. На этот раз он не удержался и проглотил всё сразу, вылизал ложку со всех сторон и хотел уходить.

– Подожди! – вздохнула молодуха и протянула Мишке ещё одну ложку с едой. По её щекам катились слёзы.

– А теперь иди, сынок, – печально сказала женщина и отвернулась.

На открытых платформах с невысокими бортами по краям обычно перевозили крупногабаритные или сыпучие грузы. В эшелоне на них перевозили беженцев. Вдоль бортов на узлах и чемоданах сидели, лежали люди. Они нехотя переговаривались, вспоминая кулинарные рецеп-

ты, проклинали войну, Гитлера, жару и железнодорожное начальство. По почам прислушивались к канонаде, смотрели на зарево в западной части неба и спорили: когда придут фашисты.

Мишкина мама стояла у бортика вагона и смотрела на село, расположенное в двух-трёх километрах от полустанка. Едва различимые белые хаты утопали в зелени. Мишка забрался на платформу, обнял мать и тоже стал смотреть в ту сторону. Ему показалось, что сквозь знойную дымку он видит висящие на деревьях груши, и слышит хруст разгрызаемых яблок, кудахтанье кур и чувствует запах бульона. От этих галлюцинаций ещё нестерпимей хотелось есть. И он заплакал так горько, как ни разу не плакал за всю свою короткую жизнь.

Мама присела, обняла и, целуя щёки, тоже заплакала. Сквозь слёзы шептала:

– Не плачь, сынок, не плачь, потерпи ещё немного. Поезд скоро тронется, и на большой станции мы найдём еду.

Мишка перестал всхлипывать. Слёзы всё ещё капали на мамины руки, а в глазах продолжал гореть голодный огонь. Несколько мгновений мама всматривалась в них. Лицо её стало бледным. Она резко поднялась. Схватив торбу, крикнула:

– Я должна его накормить, – спрыгнула с платформы и побежала в сторону деревни. Её фигура становилась всё меньше и меньше. Мишка, захлёбываясь слезами, кричал:

– Мамочка, я уже не хочу есть. Вернись, мамочка. Я не буду просить еду. Я уже большой.

Но мама не слышала его и вскоре скрылась в зелени палисадников.

Через несколько минут паровоз дал гудок. Начальник поезда засветел, и паровоз, ответив вторым гудком, лязгнув буферами, медленно двинулся на Восток.

Мишка истерически закричал и попытался спрыгнуть с вагона. Но его подхватили чьи-то руки и втянули обратно. Эшелон набирал скорость...

¹ Готыню (идиш) – Боже мой

² Малхомовэс – (идиш) – погибель

Давид Яновский

МОЙ НАРОД

Давно отшумели шумеры,
Исчезли с карты уарты.
Гибли народы и веры,
Менялись гербы и штандарты.

От культа Ра и Изиды
Остались одни пирамиды.
Руины Эллады и Рима
Дряхлеют неотвратимо.

И только народ мой странный
Свитки Книги упорно
Несёт сквозь века и страны -
Храм свой нерукотворный.

Его на вершине Синая
Нам даровал Адонаи.

ИЗ ЭЛИЯГУ

Третья книга Царств 19.11,12

Идёт Господь, и ветер небывалый
Сметает горы, разрушает скалы.
Но нет, не в ветре яростном Господь!

И после ветра вздрогнула земля,
Дома обрушились и треснули поля.
Но не в землетрясении Господь!

Потом охватит яростным огнём
Моря и сушу. Мир исчезнет в нём.
Но не в огне пылающем Господь! .

Вдруг стихнет всё. Не шелохнётся колос...
И прозвучит с небесной вышины
Входящий прямо в сердце голос,
Беззвучный голос тонкой тишины.

Вот в нём Господь!

МЁРТВОЕ МОРЕ

Кто любил тебя,
Мёртвое море?
Кто наполнил горькою болью?
Кто убил тебя,
Мёртвое море?
Кто укутал саваном-солью?

Это слёзы,
еврейские слёзы,
что веками льются рекою.
Это грозы,
жестокие грозы,
уничтожили всё живое.

ШМА ИСРАЭЛЬ!

«Шма Израэль! Израиль, слушай!»
Наш Бог - единый, Бог один.
Над морем он царит и сушей,
Вплоть до космических глубин.

Он выбрал нас из всех народов,
Чтобы служили мы Ему,
Чтоб от восхода до захода
Молитвой разгоняли тьму.

Он заключил Завет суровый,
Чтоб соблюдали мы Закон,
Чтобы несли мы миру Слово,
Которое поведал Он.

Быть впереди Он дал нам право,
В тот час, когда на казнь ведут,
Когда в сумятице кровавой
Вражда вершит неправый суд.

Он дал нам край обетованный,
Потом забрал и вновь вернул,
Но по рассеянности странной
Он дёготь в этот мёд плеснул.

«Шма Исраэль! Израиль, слушай!»
Опять беда пришла в твой дом,
И разрывает слух и душу
Невыносимый взрывов гром.

И вновь безумные шахиды,
Взрывчаткой пояса набив,
Терзают край царя Давида,
Ерусалим и Тель-Авив.

И снова в муках гибнут дети
И рвётся плоть и льётся кровь,
И страшные страдания эти
Должны мы видеть вновь и вновь.

И тут бессмысленны уступки,
И мало толку от стрельбы,
И мир не обеспечат хрупкий
Нам ни угрозы ни мольбы.

Я не политик и не Бог,
Не знаю, как решить задачу,
И в море горя и тревог
Я только плачу, горько плачу.

Молиться не умею Богу,
Но, веруя в святую цель,
Прошу я: Помоги немного!
Мы – Твой народ! Шма Исраэль!

ХРУСТАЛЬНАЯ НОЧЬ

Хрустальная ночь была чёрным форпостом,
Хрустальная ночь – это страшный рубеж.
С неё начинается ад Холокоста,
Мучений и смерти безумный кортеж.

Звук бьющихся стёкол – как звон погребальный
По тем, кто себя называет «а ид».
По этим кровавым осколкам хрустальным
Пройдёт их дорога в еврейский Аид.

И над синагогами – дымное пламя
Пылает предвестьем Треблинки печей.
Фашистская нечисть гремит сапогами,
Ещё до Победы – две тыщи ночей.

Всё вынес народ, мы расправили плечи.
У нас есть Израиль – надежды оплот,
Но тех не забыть, кто ушёл через печи.
И тех не простить, кто вновь этого ждёт.

НОВОГОДНИЙ ШОФАР

В последнем месяце, элуле,
Трубили трепетно шофары,
Чтоб наши души не заснули.
Так год заканчивался старый.

Вчера шофары не трубили,
Теперь им вновь пора кричать,
Чтоб о суде мы не забыли
И не забыли про Печать.

Сегодня вновь шофара звуки
Нам всем напомним о тшуве,
И снова мы возденем руки
К Нему в небесной синеве.

И снова из последних сил
Молить мы жарко будем Бога,
Чтоб он нам все грехи простил,
Хоть прегрешений наших много.

И Бог простит, звук рога громкий
Объединяет весь народ,
И нас, и предков, и потомков
Из века в век, из рода в род.

РОШ ГА ШАНА

Сегодня радостно встречаем
Мы Новый год, Рош Га Шана.
До дна за счастье выпиваем
Бокалы, полные вина.

Здесь блюдо каждое для нас
Таит особые приметы:
Кружки морковки в этот час
Сулят для кошелька монеты.

Вот рыба с головой на блюде
Нетерпеливо ждёт гостей,
И это знак того, что будем
Мы в голове, а не в хвосте.

А рядом с праздничною чашей
Лежит у нас гранат отборный,
Чтоб множились заслуги наши,
Как красного граната зёрна.

Мы отмечаем Новый год
И, помня древние порядки,

Мы яблоки макаем в мёд,
Чтоб год счастливым был и сладким...

Сегодня Книгу Жизни строго
Заполнит Господа рука.
Пусть даст он всем нам счастья много.
Шана това уметука.

ХАНУКА

Не бойся, что не хватит масла,
Чтоб осветить наш вечный храм.
Лишь только б вера не угасла,
А масла – Бог добавит нам.

И в храме, предками воспетом,
Огонь свечей ханукии
Благословит небесным светом
Глаза усталые твои.



публицистика

эссе мемуары

Карл Абрагам

ЕВРЕЙСКАЯ БОЛЬНИЦА БЕРЛИНА В ГОДЫ НАЦИЗМА

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

В самом центре Берлина, в районе Wedding находится Еврейская больница. Когда-то в ней работали мои родители. Папа – врачом, ассистентом профессора Г.Штрауса, мама – медицинской сестрой. В 1929 году они поженились и отец перешёл работать в Neukölln врачом тубдиспансера. После прихода Гитлера к власти отца как лицо «неарийского происхождения» с работы уволили, и осенью 1933 мы эмигрировали в Советский Союз. Перед отъездом папа зашёл к профессору Штраусу попрощаться. Узнав, что мы уезжаем в Россию, профессор воскликнул: «Куда вы едете?». Ни тот, ни другой не знали, конечно, что лучшие годы своей жизни отец проведёт в сталинских лагерях. Время показало, что и профессор сделал неправильный выбор. Посетив в 1937 году Палестину, он возвратился в Германию, где в 1942 году был арестован и сослан в концлагерь Терезин. Здесь он и погиб. Профессор Герман Штраус заведовал отделением внутренних болезней Еврейской больницы с 1911 года вплоть до ареста.

Прошли годы, десятки лет. Дома всегда с особой теплотой вспоминали Еврейскую больницу, с большим уважением говорили о профессоре Штраусе. И это тепло, это уважительное отношение к коллегам вошло в меня и стало частью моей жизни. Спустя 58 лет мы с мамой вернулись на родину, и наше знакомство с городом началось, естественно, с

Еврейской больницы. Принял нас заместитель главного врача. Узнав о мамином недуге, он предложил ей лечь на обследование. Персонал сердечно отнёсся к новой пациентке, признав в ней свою коллегу. Из бывших сотрудниц в живых мама уже никого не застала. При выписке маме подарили книгу об истории Еврейской больницы.¹ Из неё мы узнали о страшной судьбе врачей, сестёр и обслуживающего персонала больницы в годы нацизма, об их нечеловеческих усилиях по спасению больных, о людях, которые делали всё возможное, чтобы уберечь евреев от гибели. Беспомощность больного сама по себе унижительна. Преследование и дискриминация его преступна. О трагических событиях того времени, о жизни Еврейской больницы Берлина тех лет мне хотелось бы рассказать в предлагаемом очерке.

С приходом Гитлера к власти количество больных в Еврейской больнице резко пошло на убыль. Это произошло по двум причинам: во-первых, в связи с тем, что больничные кассы перестали оплачивать счета за лечение у врачей-евреев, во-вторых, за счёт уменьшения числа больных, лечение которых до этого оплачивало социальное ведомство. Вскоре картина изменилась к лучшему, врачи-евреи, уволенные из других больниц Германии, в том числе и из берлинских, в поисках работы, устремились в Еврейскую больницу. Были открыты новые отделения: кожных и нервных болезней, отделение уха, горла и носа. Научный уровень врачей и профессуры был исключительно высок, многие думали, что нацисты оставят Еврейскую больницу в покое. Между тем в больницу стали поступать жертвы антисемитского произвола. В истории болезни следовало избегать упоминаний о причинах побоев и ранений. Так нужно было, чтобы не ставить под сомнение само существование Еврейской больницы. В 1935 г. количество госпитализированных заметно увеличилось. При этом только 2/3 больных были евреями, остальные – христианами. Период с 1933 до середины 1938 года был для Еврейской больницы относительно спокойным. Больница была местом убежища для больных евреев. Правда, сотрудники знали только дорогу из дома на работу и обратно: появление в кино, на танцах, в театре и других общественных местах из-за частых облав было небезопасно.

В июле 1938 года у врачей-евреев было отнято право заниматься врачебной деятельностью. Врачи Еврейской больницы находились в луч-

шем положении, чем врачи-евреи других больниц и практик: они могли продолжать свою работу. Однако врач уже не имел права называть себя врачом, а только «Krankenbehandler», т.е. «обслуживающим больно-го». Летом 1938 года все больные неевреи были выписаны из Еврейской больницы либо переведены в другие лечебницы.

Первые заключённые из ближайшего концлагеря Заксенхаузен стали поступать в Еврейскую больницу в конце 1938 года. Это были доходяги, которых доставляли в больницу с гнойными ранами и гангреной. Замороженные, запуганные люди ничего не рассказывали о том, что с ними делали в концлагере. Когда к ним обращались, они, лёжа в постели, вытягивались по стойке «смирно» и на все вопросы отвечали только «да» или «нет». Они никак не могли привыкнуть к тому, что находятся среди людей, которые готовы им помочь. Тем не менее, персоналу следовало соблюдать осторожность, т.к. среди поступающих были и провокаторы. Газовая гангрена с трудом поддавалась лечению. Больных лечили, используя украдкой неприкосновенный запас медикаментов, предназначенных для немецкой армии. И всё же одна треть пациентов с гангреной скончалась. Тем, которые выжили, ещё целый год проводились пластические операции по пересадке кожи. Зав. хирургическим отделением доктор З. Островский писал в своих воспоминаниях, что доставка искалеченных узников из концлагеря в больницу объяснялась, по его мнению, не гуманными соображениями гестапо, а имела одну единственную цель: ускорить эмиграцию евреев из Германии: дескать, смотрите, что с вами будет, если вы не уедете. Кроме этого, в больницу поступали заболевшие узники берлинских тюрем, где для них было развёрнуто полицейское отделение на 40 коек. Окна в отделении были зарешечены, двери постоянно заперты. Обслуживание больных осуществлялось сотрудниками больницы.

Период с ноября 1938 г. до первого сентября 1939 года был годом принудительной эмиграции евреев. За это время из Еврейской больницы уволилось примерно 80 врачей и медицинских сестёр. Покидавших страну обирали до нитки: всё их имущество конфисковывали, а денежные вклады замораживали. Человек мог взять с собой только 10 рейхсмарок. После ноябрьского погрома еврейские больницы в городах Бреслау (ныне Вроцлав), Кёльн, Гамбург и Ганновер были закрыты. Наиболее тя-

жело пострадавшие во время погрома евреи поступали со всей Германии в Еврейскую больницу Берлина.

В 1938 году при больнице была создана партиячейка национал-социалистов, которую возглавил машинист лифта. Ячейка осуществляла контроль за деятельностью больницы. В задачу партиячейки входило ещё и наблюдение за «неблагонадёжными». Следовало соблюдать крайнюю осторожность в работе и не давать повода для доносов.

Несмотря на нехватку персонала, больница продолжала работать с полной нагрузкой и оставалась учебным центром по подготовке медсестёр. Последний сестринский курс начал свою работу в марте 1941 года. Окончившая курс и сдавшая экзамен получала звание «Еврейской медсестры» с правом обслуживания только евреев.

С 1940 года начались налёты английской авиации на Берлин. При объявлении воздушной тревоги персонал вместе с больными спускался в подвал.

Годы 1941-1943 наиболее трагичные для еврейской общины Берлина. В конце сентября 1941 года во время богослужения в честь праздника Йом Кипур главный раввин общины Лео Бэк получил приказ о немедленном превращении синагоги на Levetzowstr. в сборный пункт для депортации евреев на восток. На этом пункте работали сотрудники Еврейской больницы. В число депортируемых входили жильцы дома престарелых со своим медперсоналом, который не имел права принимать участие в подготовке к отъезду. Многие престарелые люди от страха мочились под себя. Их приходилось пеленать. Не успевали перепеленать последнего, как первые опять были мокрыми. Контакт с сёстрами дома престарелых для сотрудников Еврейской больницы был категорически запрещён.

С началом массовой депортации среди евреев участились случаи самоубийств. Несчастные принимали либо цианистый калий, либо запирались в квартире и включали газ. Все они поступали в Еврейскую больницу. Пытавшихся покончить с собой было так много, что разместить их могли только в водолечебнице. Персонал поначалу не знал, что с ними делать, живые они или мёртвые. Сперва всем промывали желудки. В лавине суицидов возникали и этические проблемы: нужно ли их оживлять? Мнения сотрудников разделились: одни считали, что нужно, другие были противоположного мнения: «Дайте спокойно умереть человеку».

Ведь сама попытка самоубийства жестоко каралась властями. Тех, кого удавалось спасти, помещали в полицейское отделение больницы. Там их лишали еды и с первым же транспортом отправляли на восток, в лагерь смерти. Если кому-то удавалось бежать из полицейского отделения, то дежурившая медсестра тут же отправлялась в концлагерь. Начиная с октября 1941 года около 7000 евреев Берлина, покончили с собой.

До сентября 1942 года Еврейская больница была переполнена. Хирургическая активность достигла своего пика. Особенно много операций было произведено в глазном отделении. Чтобы уберечь людей от депортации или отсрочить её, нередко производились мнимые операции. Лишь в конце 1942 года число операций пошло на убыль. Это произошло в результате депортации не только еврейского населения Берлина, но и части сотрудников больницы. С 1941 по 1942 персонал Еврейской больницы уменьшился по этой причине примерно на 100 человек. Несмотря на людские потери, руководство больницы поддерживало среди сотрудников строжайшую дисциплину. Возможно, что только за счёт чувства постоянного страха быть отправленным в один из лагерей уничтожения, люди нормально работали. Не нам рассуждать о психологии страха и поведении людей в тех условиях. Никто из переживших Катастрофу не рассчитывал выжить. Каждый день мог быть последним в жизни сотрудника. Но страх не всегда парализует волю человека, к нему иногда просто привыкают. Вот что вспоминает одна из бывших медсестёр, работавшая в то время в больнице: «Мы не думали, что переживём этот ужас и почти свыклись с мыслью о смерти. К концу войны я уже не боялась ни бомбардировок, ни гестапо. Ну, разве что «чуть-чуть». Но не настолько, чтобы воздержаться от кражи овощей. Коров, которые содержались во дворе больницы, я боялась по-настоящему. Не дай бог ночью столкнуться с бодливой коровой во дворе».

В марте 1941 года всех евреев Германии привлекли к принудительным работам. В то время это было благом ибо с 1939 года, власти ввели для евреев запрет на все виды профессий, это обрекало их, по сути, на голодную смерть. До конца 1942 года между вермахтом и гестапо существовало соглашение, по которому евреи, работающие на оборонных предприятиях, исключались из числа депортируемых. С начала 1943 года руководство вермахта дало «зелёный свет» на депортацию евре-

ев, занятых на фабриках и заводах. Так, в субботу, 27 февраля 1943 года, была осуществлена колоссальная по масштабу «фабричная акция». После этого число евреев в Берлине заметно уменьшилось, как и количество больных в стационаре. С марта 1943 года в больнице проводилось не более 30 операций в месяц.

Спустя два месяца после начала массовой депортации (октябрь, 1941) при Еврейской больнице был создан пункт рекламации депортируемых. Его возглавил доктор Walter Lustig – член президиума «Имперского объединения евреев Германии», деятельность его была целиком под контролем гестапо. По мере сил и возможностей в этом пункте пытались уберечь или, по крайней мере, отсрочить депортацию евреев. Здесь решался вопрос о транспортабельности жертвы. В диагностическом отделении пункта рекламации работало 6 врачей, 6 сестёр и 6 секретарей-машинисток. Кроме того, двое врачей осматривало лежачих больных на дому. По вечерам врачи диктовали протоколы обследования больных и делали по каждому случаю свои выводы. Из числа депортируемых исключались больные с туберкулёзом в конечной стадии и страдающие грудной жабой в тяжёлой форме. Беременных можно было спасти от транспортировки в том случае, если роды были в ходу. Через 6 недель ребёнка с мамой отправляли на восток. Были и другие заключения. Например: «по состоянию здоровья не транспортабелен; через некоторое время нуждается в повторном осмотре», или «нуждается в операции», или «для восстановления трудоспособности подлежит лечению». Признанные «практически здоровыми» включались в списки «эвакуируемых». Гестаповцы постоянно прибегали, к такого рода эвфемизмам, чтобы скрыть от жертв цель своих намерений, вместо слова «депортация» использовались более «щадящие» термины: переселение, эмиграция, эвакуация и т.п.

Летом 1942 года в Еврейской больнице было развёрнуто психиатрическое отделение на 120 коек. Сюда поступали душевнобольные евреи со всего рейха. Большая часть больных других психиатрических лечебниц Германии уже в октябре 1941 была вывезена в лагеря. Многие больные были с иностранными паспортами. Как только срок действия их истекал, они становились людьми без гражданства, и их тут же отправляли в концлагерь. В одну из суббот конца 1942 года все 100%-ные

евреи (Volljuden) – пациенты Еврейской больницы были арестованы и депортированы. За ними последовали многие врачи и медсёстры.

В декабре 1942 года у больницы были конфискованы здания, в которых размещались общежитие для медсестёр, инфекционное и гинекологическое отделения. В одном из этих зданий разместился 147 лазарет вермахта. Взаимоотношения с персоналом лазарета были нормальными. Сантехники Еврейской больницы имели возможность подработать в лазарете. За это их там кормили. Напомним, что сотрудники Еврейской больницы не получали ни мяса, ни молока, ни яиц, ни рыбы. И очень мало жира, хлеба и картофеля. От раненых офицеров лазарета персонал Еврейской больницы узнал о жуткой судьбе депортированных.

Депортация сотрудников Еврейской больницы происходила в несколько этапов. 20 октября 1942 года всем сотрудникам еврейской культурной общины предложили явиться к 7 часам утра на Oranienburger Strasse 28. Собралось около 300 человек, в том числе и работники здравоохранения. В 10 часов явились представители гестапо и предложили доктору W.Lustig самому отобрать 100 человек для депортации. Это было для него тяжёлым испытанием (к тому времени он уже стал главным врачом больницы). О чём думал он в этот момент, мы не знаем, он поначалу пытался уклониться от этой «привилегии». Тогда гестаповцы стали выдёргивать из толпы первых попавшихся. И только после этого Lustig приступил к отбору кандидатов на депортацию. Из 100 отобранных, 18 бежало и перешло на нелегальное положение. Вместо них было арестовано и отправлено в концлагерь 18 других сотрудников.

Вторая крупная акция по депортации сотрудников Еврейской больницы произошла 10 марта 1943 года. Сперва гестапо хотело в этот день вообще ликвидировать больницу. Но доктору W.Lustig удалось договориться с властями, чтобы больницу не закрывали. Гестапо настаивало на своём, требуя депортировать как минимум 50% персонала. Сценарий повторился: списки жертв должен был составить главный врач.² Отобранные к депортации вместе с семьями составили около 300 человек. В мае 1943 года была ликвидирована больница для больных с хроническими заболеваниями; она находилась на Auguststrasse в районе Mitte. Врачи и обслуживающий персонал последовали вместе с больными в концлагерь. 10 июня 1943 года прекратила своё существование

еврейская община Берлина. Все евреи, не состоявшие в браке с христианками (или христианами), должны были явиться на сборный пункт на Großer Hamburger Strasse 26. 16 июня они были отправлены в концлагерь Освенцим. В тот же день всё имущество «Имперского объединения евреев Германии» было конфисковано. Его оценили в 8 миллионов рейхсмарок. К весне 1944 года, когда «план депортации» был выполнен, все сборные пункты для евреев, подлежащих депортации, были за ненадобностью расформированы.

После «фабричной акции» в Еврейскую больницу пришли новые сотрудники. В стационаре лежало около 40 больных. Это были евреи от смешанных браков. Такие больные съезжались в Берлин со всей Германии. Если, не дай бог, партнёр нееврей умирал, то больного по выздоровлению отправляли в концлагерь. Врачей и сестёр в больнице не хватало. Больные получали только таблетки и уколы. Но операции проводились даже в подвале, во время бомбардировок, при свечах. Спектр операций был невелик, только необходимое: обработка ран, иммобилизация переломов, иногда операции по поводу аппендицита или ущемлённой грыжи. Насколько возможно, соблюдалась стерильность.

После одной из тяжёлых бомбардировок района **Wedding** в 1944 году в Еврейскую больницу вновь стали поступать немцы. Как только они становились транспортабельными, их переводили в другие больницы города. Некоторые противились переводу, считая, что союзники антигитлеровской коалиции не станут бомбить Еврейскую больницу. Для переливания крови больница располагала только кровью от доноров евреев. Раненым немцам переливали кровь от доноров евреев лишь по особому разрешению высокого начальства.

Первого марта 1944 г. патологоанатомическое отделение Еврейской больницы было конфисковано гестапо, огорожено от остальной территории колючей проволокой и превращено в сборный лагерный пункт для депортируемых. Сюда попадали те, которые скрывались, и которых удалось выследить и схватить; это были люди, ожидавшие суда, а также «неясные» для гестапо случаи. Обслуживание заключённых возлагалось на главного врача больницы. Из этого сборного пункта было депортировано 394 человека. Последний транспорт с узниками-евреями ушёл в концлагерь Заксенхаузен в марте 1945 года.

Последние 14 дней войны персонал и больные провели в подвале. Тем не менее, больница как лечебное учреждение продолжала функционировать. С 21 по 24 апреля 1945 года в больнице были обработаны 4 огнестрельных ранения. Среди раненых было два немца, один русский и один рабочий Еврейской больницы. Последняя роженица разрешилась живой девочкой 14 апреля 1945 года. После этого рукой акушерки в родовом журнале проведена красная черта. Гестапо покинуло больницу за восемь дней до капитуляции Берлина.

* * *

В актовом зале Красной ратуши Берлина мне довелось быть только однажды, в октябре 1991, на приёме устроенном правящим бургомистром столицы в честь бывших берлинских евреев, живущих за рубежом. То были люди, чудом пережившие Катастрофу, не пожелавшие после войны остаться в разрушенном городе. Они бежали прочь из страны, причинившей им столько зла, страны, в которой они потеряли родных и близких, страны, в которой прошла их молодость. Они хотели начать жизнь с чистого листа. И вот они снова в родном городе. На сей раз в качестве почётных гостей. Среди собравшихся обращаю внимание на отнюдь не молодую улыбчивую женщину: на вскидку – не более сорока. В руках блокнот, всё время что-то записывает.

Мужчины моего возраста знакомятся с молодыми женщинами легко. Подхожу и спрашиваю: «А вы что здесь делаете?» Она, ничуть не смутившись: «То же, что и вы». «Но позвольте, вы же родились уже после войны». «Это не так, я родилась во время войны, в апреле сорок пятого». «И где же это произошло?» «В Еврейской больнице». Начинаю вспоминать: в апреле сорок пятого в Еврейской больнице рожала только одна женщина. Её звали Минна и родила она девочку, которую нарекли... «Стало быть вы – Клаудия?» «Да, откуда вы знаете?» «И жили вы в районе Prenzlauer Berg, на Schönhauser Allee 185». «Верно. Но как вы меня вычислили?» «Понимаете, я довольно долго занимался изучением истории Еврейской больницы в годы нацизма. Среди сохранившихся документов я обнаружил и родовый журнал за сорок пятый год, в котором обо всём этом можно прочесть». «Надо же, как интересно, вы вроде бы как присутствовали при моём появлении на свет». Оказалось, что моя

собеседница – корреспондент газеты «Вашингтон пост». Она профессиональный журналист, является автором нескольких книг, в основном на еврейскую тематику. Весь день мы гуляли по Берлину и я рассказывал ей о достопримечательностях города. Съездили мы и на Schönhauser Allee к дому, где она жила со своими родителями. А на следующий день мы встретились в вестибюле Еврейской больницы. История больницы отражена на стендах, которые размещены тут же. Велико было огорчение моей спутницы, не обнаружившей в холлах больницы и во дворе, ни памятной доски, ни памятного знака – места, куда люди могли бы прийти и почтить молчанием живых и мёртвых врачей и сестёр, нянечек и больных Еврейской больницы – единственного учреждения еврейской общины, пережившего годы нацизма. Она не могла определиться с цветами, которые принесла с собой. Как только мы покинули территорию больницы, Клаудия развернула букет красных роз, оглянулась и, преодолевая чувство неловкости, положила цветы к чугунной оgrade.

БАВАРСКИЙ КВАРТАЛ

Память о шести миллионах невинно убитых евреях Европы запечатлена в стихах, музыке, в учёных книгах и простеньких рассказах, в живописи, в скульптурах и мемориалах. Я расскажу вам об одном необычном памятнике жертвам Холокоста, о котором даже не каждый коренной житель Берлина знает.

Садитесь на седьмую линию берлинской подземки, сойдите на остановке «Байришер плац» и поднимитесь наверх. А теперь пройдите по тихим тенистым улочкам этого района, в котором до войны жило много евреев и который был известен как «Баварский квартал». Идите неспешно, поднимите чуть голову, и вы увидите на фонарных столбах небольшие памятные таблички, которые мгновенно перенесут вас из лучезарного «сегодня» в Берлин времён фашистской диктатуры. На этих табличках приведены распоряжения гитлеровских властей в отношении берлинских евреев. Почитайте их и вы поразитесь, с каким тщанием и размахом нацисты организовали вначале травлю, а затем и уничтожение немецких евреев.³

Оставляя эти таблички с надписями без комментариев, я расположил их в хронологической последовательности и сопоставил с наиболее по-

зорными фактами из истории третьего рейха. Прочтите эти надписи, и на вас пахнёт могильным холодом.

Год 1933

30.01.33 – приход Гитлера к власти

28.02.33 – поджог Рейхстага

Евреям-адвокатам и евреям-нотариусам города Берлина ведение юридических дел впредь запрещено.

Начиная с 1 апреля 1933 года, больничные кассы счета за лечение у врачей-евреев не оплачивают.

Всем окружным ведомствам предлагается преподавателей-евреев из государственных школ немедленно уволить.

Еврей-чиновники госучреждений подлежат увольнению.

Пользование пляжем на озере Ванзе евреям запрещено.

Генетика и расовая теория вводятся во всех школах как обязательный предмет.

Год 1934

Запрет на профессию для артисток и артистов еврейского происхождения.

Год 1935

15.09.35 приняты «Нюрнбергские законы», лишившие евреев гражданских прав.

Для писателей-евреев любая литературная деятельность подлежит запрету.

Запрет на профессию для евреев-музыкантов.

Заключение брака и внебрачные связи между немцами и евреями наказываются каторжной тюрьмой.

Браки, заключённые в нарушении этого закона, считаются недействительными.

Год 1936

Ветеринарным врачам-евреям запрещено заниматься врачебной практикой.

Журналисты и их супруги должны доказать своё арийское происхождение, начиная с 1800 года.

При решении вопроса о расовой принадлежности крещение евреев и переход их в христианство значения не имеют.

Год 1937

Почтовые чиновники, женатые на еврейках, отправляются в отставку. Запрет на защиту диссертаций евреями.

Год 1938

09.11.38 – еврейский погром, вошедший в историю как «Хрустальная ночь»

Евреи не имеют права заниматься врачебной практикой.

Дополнительно к своему имени еврей должен добавлять имя «Израиль», а еврейка – «Сарра».

Посещение евреями театров, кинотеатров и концертов запрещено.

Детям-евреям запрещено посещать государственные школы.

Посещение евреями определённых районов Берлина запрещено.

Детям арийского и неарийского происхождения играть друг с другом запрещено.

Водительские права евреев считаются недействительными.

Запрет на профессию для евреек-акушеров.

Год 1939

Запрет на все виды профессий для евреев.

Еврейские культовые учреждения должны сами устранять следы разрушения синагог. Восстановление их запрещено.

Выдача евреям карточек для получения одежды прекращается.

Евреям запрещено покидать свои квартиры после 8 часов вечера.

Евреи, имеющие украшения, изделия из золота, серебра, платины и жемчуга, обязаны их сдать.

01.09.39 – начало Второй мировой войны

Год 1940

Июнь 1940 года – создание концлагеря в Освенциме

Телефоны евреев подлежат отключению.

Евреи могут покупать продукты питания только между четырьмя и пятью часами пополудни.

Год 1941

Все евреи в обязательном порядке привлекаются к принудительным работам.

22.06.41 – нападение Германии на СССР

Мыло и крем для бритья евреям продавать запрещено.

Все евреи старше 6 лет должны на одежде носить шестиконечную звезду и надпись «Jude».

Запрет на эмиграцию евреев.

18.10.41 – начало массовой депортации берлинских евреев

Год 1942

О чём думали евреи, покидавшие свою страну навсегда? Вот только две записки, оставленные несчастными, помеченные 16 января 1942 годом:

«Пудреницу я оставляю тебе как маленькое напоминание о себе. Пользуйся ею чаще, тогда ты будешь каждый раз вспоминать меня. Ваша глубоко опечаленная Эльза Штерн»

«Вот и всё... завтра я отправляюсь в дорогу, и это меня, конечно, глубоко ранит. Я буду тебе писать».

Подписи нет.

Обречённые знали, что депортация ничего хорошего им не сулит, но они ещё не догадывались, что их увозят, чтобы убить. Они ещё на что-то надеялись.

20.01.42 - Ванзейская конференция, посвящённая

«Окончательному решению еврейского вопроса»

Принудительная сдача евреями шуб и шерстяных вещей.

Булочные и кондитерские обязаны вывесить объявление, запрещающее продажу евреям кондитерских изделий.

Евреи не имеют право покупать газеты и журналы.

Квартиры еврейских семей должны быть в принудительном порядке помечены шестиконечной звездой.

Евреям запрещено содержать домашних животных.

Сигареты и сигары продавать евреям запрещено.

Евреи не имеют права на получение яиц.

Свежее молоко евреям отпускать запрещено.

11.07.42 – начало депортации берлинских евреев в Освенцим

Отпуск евреям мяса, колбасных изделий и других продуктов по карточкам прекращается. Продажа книг евреям запрещена.

После этого других распоряжений, ущемляющих права и достоинство берлинских евреев, в общественных местах города больше не появлялось.

Вместо эпилога

27.01.45 – освобождение советскими войсками Освенцима

Распоряжение имперского министерства экономики от 16.02.45:

Архивные документы, свидетельствующие о преследовании евреев, подлежат уничтожению.

Для справки: к осени 1941 года в Берлине оставалось 73 тысячи евреев; из них войну пережили шесть тысяч.

Литература: I.R. Stih & F. Schnock Orte des Erinnerns, Haude & Spenerische Verlagsbuchhandlung GmbH Berlin 24 S. 2002

2. J. Walk (Herausgeber) Das Sonderrecht für die Juden im NS-Staat

2. Auflage C. F. Müller Verlag 452 S. Heidelberg 1996

3. W. Ribbe & J. Schmäddecke Kleine Berlin-Geschichte 2. Auflage 270 S. Berlin, 1989

Сноски

¹ Zerstörte Fortschritte. Herausgegeben von Dagmar Hartung-von Doetinchem und Rolf Winau. 273 S. Edition Hentrich, Berlin, 1989

² В конце 1945 года W. Lustig, бывший главный врач Еврейской больницы, был расстрелян русскими за пособничество немецким властям.

³ Все эти установления, запреты и приказы до 1938 года печатались в газете «Еврейское обозрение», а после этого – в газете «Еврейский вестник», которая просуществовала до ноября 1942 года

Леонид Бердичевский

ДЕД

Деда звали Шеил. Это было домашнее имя. Так обращались к нему бабушка и друзья-ровесники, добавляя уважительную приставку – реб. Сыновья и дочери его были Сауловичи и Сауловны.

Большого роста и, несмотря на хромоту (свалившаяся с проходящей подводы бочка с пивом раздробила берцовую кость правой ноги, и открытый свищ остался на всю жизнь), он был строен и величествен. Волосы его густо вились. Их подстригала моя мама – старшая дочь. К бороде и усам он не допускал никого, ухаживал за ними сам. Обряд был важной составляющей утреннего туалета.

Дед был хозяином в семье, не переносил возражений своим суждениям. О настроении его можно было судить по состоянию бровей, когда они опускались на глаза, ему нельзя было задавать вопросов. Обреет, может даже шлепнуть. Все называли его папой и дедушкой, обращались на «вы». Только мне разрешал он называть себя на «ты» и именовать дедом, чему завидовали его внуки. Почему так получилось? Мы жили в одной комнате, я чаще остальных общался с ним, кроме того, был его душевным собеседником.

Многие приходили к деду за советами и помощью. Не знаю, пользовались ли его советами, но помощью – все. Один из его сыновей жил в Москве. Прилично зарабатывал. Периодически навещал нас, оставляя деньги. Младший брат деда, Авром, жил на соседней улице, но приходил к нам раз в месяц. Он жаловался на сварливую жену, неуважительное отношение детей и внуков. Дед не отчитывал его, только произносил: «*Ды бист а ферд*». Когда Авром собирался уходить, дед незаметно со-

вал в его карман деньги. Я как-то поинтересовался профессией Аврома, на что дед, словно подписывая ему приговор, ответил: «*Он партач, но он мой брат*».

Любимым блюдом деда был борщ с мясом. Оно варилось в борще, было окрашено красной свеклой. К борщу он съедал полбуханки круглого хлеба, вынув мякиш и густо натерев корку чесноком. Чесночный запах туманом застилал нашу комнату и распространялся по всей коммунальной квартире. Соседи привыкли к нему и не протестовали. Утро деда начиналось с того, что он обрабатывал больную ногу марлевым тампоном, смоченным в риваноле, отчего его пальцы были окрашены в несмываемый, желтый цвет. Затем он надевал талес, левую руку обматывал ремешком с тфилином, другой тфилин закреплял на лбу, зная все молитвы наизусть, брал в правую руку молитвенник, и учащенно раскачиваясь, шептал молитву. Наблюдая за ним, я повторял многие слова, словно помогал деду. Это вызывало его раздражение, и он отмахивался от меня, как от мухи.

Бабушка умерла за два года до него. Я запомнил ее красивой, с доброй улыбкой и задумчивыми глазами изумрудного цвета. Она волочила ногу, рука ее была на перевязи. Результат перенесенного инсульта. Дед всегда наблюдал за ней, во взгляде его была жалость за ее нынешнее состояние. Бабушка была единственным человеком, умеющим укротить буйный нрав деда, когда тот распалялся от кажущейся ему несправедливости. Она произносила своим слабым голосом всего три слова: «*Шеил, мах итыл*». Но их было достаточно для того, чтобы он умолкал. Дед говорил на украинском языке, иногда, для конспирации, вставлял слова на идише. Зрение у него было плохое, но носить очки не любил. Меня просил читать ему газеты. Зато фотографии в них рассматривал подолгу. Особенно в праздничных номерах, разглядывая членов правительства, построенных по ранжиру на трибуне ленинского мавзолея. Как ни странно, он различал их лица, задерживаясь на Сталине и Кагановиче. Затем бормотал неизменное: «*А милихэ*», – ударяя на гласные звуки и соблюдая паузу, словно был знаком с системой Станиславского, добавляя, – «*ныту мит вемен цым тыи геен*», – отбрасывая газету в сторону. Еще его интересовала в газете «Вечерний Киев» рубрика «Добрый вечер», известная антисемитскими фельетонами, порочащими евреев

с типичными именами-отчествами, обвиняя их в кражах и махинациях. Правда, через два-три номера появлялось опровержение в три строки, набранное непарелью. В этом случае дед бывал лаконичнее. Он говорил одно слово: «Газлуным».

Глядя на деда и бабушку, я впервые осознал цену любви, заботы и внимания. Бабушка старалась подсунуть деду лучший кусок, но когда она отворачивалась, тот же кусок возвращался в её тарелку. Дед причёсывал ее, помогал умываться и одеваться, следил за своевременным приемом лекарств.

Когда бабушки не стало, он подходил к ее фотографии, беседуя с ней, как с живым человеком. Как-то, я застал деда особенно удрученным. В этот день исполнилось два года без бабушки. Он стал рассказывать историю их любви. Родились и выросли они в крошечном городишке под Киевом, в таком, который позже стали называть поселком городского типа. Дед любил бабушку с раннего детства, но она предпочла ему другого. Шестнадцати лет она вышла замуж за красавца, меламеда хедера, Аарона Меня. Родила от него двоих сыновей. Дед, по сватовству, а скорее с горя, через два года женился на старой деве, по тем временам, двадцатидвухлетней Рейзл. У них также родились два сына. Однако, когда младшему бабушкиному сыну не было еще и года, Аарон заболел испанкой и умер. Бабушка овдовела двадцати лет отроду. Любовь деда к ней не прошла, наоборот, у него затеплилась надежда соединить свою жизнь с бабушкиной. Дед ходил к раввину и рассказывал ему о своих чувствах и планах. Разбирательство длилось два года, и дед выиграл. Он получил добро раввината и развелся с Рейзл при условии, что заберет к себе сыновей. Так Рейзл легче устроить свою жизнь. И действительно, Рейзл вскоре вышла замуж и родила в новом браке еще двоих детей. Дед и бабушка, женившись, имели уже четверых детей. Дед никогда не отличал своих детей от бабушкиных, и даже, когда выросли дети Рейзл от второго брака, принял их на работу в собственную пекарню. Соединившись, дед и бабушка переехали в Киев, их общие дети уже родились в Киеве.

Моя профессия определилась в детстве. Я делал наброски, дед часами мог наблюдать, как я рисую. Он восхищенно говорил: «А мамзер», – я не знал, что это значит, принимая за похвалу. После его смерти, я нашел свои рисунки в ящике его тумбочки. Умирал дед без стонов и жа-

лоб. Каждые два часа я бегал в аптеку за сменой кислородных подушек. Вечером дед подозвал меня к своей кровати, впервые погладил мою руку и сказал, как взрослому: «Ты хороший человек, счастье всегда будет рядом с тобой, я ухожу». «Куда», – не понял я. «Туда, откуда не возвращаются. Все. Иди спать» – закончил он. Дед умер под утро. Долго ещё я смотрел на то место, где стояла его кровать...

Он был основой всей семьи. После его смерти мы, его внуки, стали реже встречаться. Судьба разбросала нас по миру. Наши дети, правнуки деда, даже незнакомы друг с другом.

Десять лет, что я прожил с дедом под одной крышей, стали фундаментом моего характера, понимания жизни, отношений с миром и людьми.

«ды бист а ферд» (идиш) – ты лошадь, партач (идиш) – халтуричик, реваноль – жидкость для дезинфекции раны талес – (идиш) – одеяние для молитвы,

тфиллин (идиш) – кубики на лоб и руку во время молитвы

«мах штыл» (идиш) – соблюдай тишин, а милихэ» (идиш) – ироничное – власть

«ныту мит вемен цым тыш геен» (идиш) – не с кем идти к столу «газ-лумым» (идиш) – бандиты

меламед (идиш) – учитель, а мамзер» (идиш) – байстрюк

Марлен Глинкин

ПУТЕШЕСТВИЕ В ИЗРАИЛЬ

В Берлине мне много раз снился Израиль...

И когда сны стали очень одолевать меня, я решился посетить Святую Землю.

Когда мы вышли вечером из самолета в Тель-Авиве, запахло морем и апельсинами. Сразу возникло чувство, что мы на курорте. Правда, через два дня мы узнали, что Израиль – это простор, масса незастроенных территорий и вдоль дорог, и в горах, и в долинах. Очевидно, Бог создал в Израиле модель мира, расположив рядом горы и долины, цветущие сады и пустыни, соленые моря и пресные озера. Полчаса езды, и ты в другой климатической зоне. А дороги?.. Сказка. Европейский уровень с еврейским акцентом. Главное, что поражает в Израиле, – много евреев: мужчины, женщины, дети, шоферы, землепашцы и строители, дворники и официанты, полицейские и проститутки и... даже премьер-министр.

Здесь гордо носят шестиконечную звезду и на знамени, и на груди, здесь всем больным во время операций, независимо от национальности, вливают еврейскую кровь.

Весной и летом очень жарко, сухо, безоблачно. Ближайший дождь в декабре. Здесь очень красивые женщины, разнообразно красивые. Они поднимают настроение даже тем, кому за шестьдесят. Достаточно посмотреть на них, чтобы почувствовать, что настроение уже поднялось...

В Союзе я считал, что большинство еврейских женщин имеют специфическую внешность: жгуче-черные, носатые. С тяжелыми фигурами. А оказалось, израильтянки – всех цветов и всех весовых категорий. Есть и русые, и беловолосые, есть с кошачьими зелеными глазами, и по-дет-

ски голубоглазые, есть даже курносые. Есть по-мальчишески тоненькие и изящные, а есть с роскошными бюстами, так что невольно начинаешь завидовать их грудным младенцам... А девушки-солдатки? Стройные, обаятельные, пружинистые. Кажется, что их призывают в армию прямо с конкурсов красоты.

В Израиле масса разномарочных автомашин... и масса аварий. Несоблюдение правил ведет к жертвам, которым завидуют арабские террористы. Водители «не доверяют» светофорам и объясняются руками, как когда-то на Кавказе.

Масса ресторанов, кафе, закусочных... Едят много, вкусно, сочно, шумно, как умеют только евреи. Создается впечатление, что по стране объявлена всеобщая «обжираловка»...

Кажется, что государственный язык – русский. Здесь уже давно в витринах магазинов половина объявлений на русском языке, уже работают русские театры, есть русские программы телевидения. Ежедневно выходит столько русских газет и журналов, что ими можно устелить весь Израиль с учетом контролируемых территорий. Русскими песнями здесь не удивишь – удивишь, если станешь доказывать, что они русские: израильтяне убеждены, что это их фольклор. Эти песни привезли с собой первые переселенцы из советской России и, они здесь прижились. Непривычно для нас звучат на иврите «Катюша», «Синий платочек» и многие другие. Многие тексты переведены на иврит вместе с музыкой – они уже звучат с еврейским акцентом, это трогательно и забавно.

Израиль – удивительная страна, в которой сошлось все: и западная деловитость и восточная лень, и американская оперативность, и российская расхлябанность и необязательность. Здесь демократия переходит в демагогию, здесь социализм сосуществует с капитализмом, омрачая жизнь последнему.

Здесь много говорят о политике. Везде. В каждом доме... Кто сказал, что СССР – страна Советов? Страна Советов – Израиль.

«Два еврея – три мнения!» – это поговорка об израильтянах.

По количеству детей еврейские женщины вступили в соревнование с арабскими.

Еврейки набирают темп. Это, очевидно, потому что мужчины следуют лозунгу: «Мужчины! Не занимайтесь статистикой – занимайтесь

своим делом!» В Израиле мужчины знают свое дело – детей много, несмотря на жару. Что роднит всех израильтян, от подсобного рабочего до преуспевающего бизнесмена? Если послушать каждого, то он, как никто, погряз в долгах, еле-еле сводит концы с концами, стоит на грани банкротства... но при этом у каждого хороший дом или приличная квартира, одна или две машины, семья хорошо одета, ежегодно ездят отдыхать... Как сказал один знакомый израильтянин: мы нищая страна богатых людей. То, что богатых, радует. То, что нищих, спорно. А то, что бытует психология нищих, огорчительно. Американец покупает самое лучшее, платит большие деньги, понимая, что лучшее – выгодно, оно в будущем принесет прибыль. Израильтянин, даже богатый, покупает похуже, но подешевле, не думая о будущем – важно сэкономить сегодня. Евреи вообще тяжело расстаются с деньгами, отдают их по частям, по шекелям, лишь бы оттянуть срок полного расставания. И очень неохотны. Ни одно совещание не начинается вовремя, на свидания постоянно опаздывают. Приглашенные на завтрак, приходят к ужину. Если исходить из определения «Точность – вежливость королей», то можно смело утверждать, что в Израиле с королями давно покончено. Зато все пьют кофе: всюду, везде, всегда. До еды, после еды, вместо еды. Подозреваю, что вся Бразилия работает на Израиль.

Это поистине удивительная страна, где все материализуется: история, религия, мечты и даже парадоксы. Мой отец когда-то рассказывал свой любимый анекдот: «стоит негр и читает газету на идиш». Отец смеялся: «ему мало, что он еврей!» Здесь этот анекдот живет в реальной жизни. На каждом углу стоит эфиоп и читает газету на иврите.

Хорошо ли здесь? Говорят, что хорошо, где нас нет. А так как мы уже всюду, то уже нигде хорошо быть не может. И мне показалось, что еврею хорошо, когда он в пути, или когда у него есть дом на родной земле, в Израиле. Но для многих Израиль – это платформа выжидания, трибуна для оплакивания самих себя или перевалочный пункт в Америку или Европу.

Ведь каждый кует свое счастье, даже если он не обрезан на восьмой день после рождения, согласно законам Торы.

Любит ли основная масса Израиль? Не знаю. Одна московская протитутка утверждала: «Любви нет, ее выдумали большевики, чтобы не платить денег». Но любовь есть – многие полюбили Израиль. Ведь са-

мое главное, Израиль – это люди, живущие в своем еврейском государстве. Однако, не секрет, что евреи всегда были и будут во всем предельно экстремальны. Если бунт – то, как минимум, Октябрьская революция. Если война – то шестидневная. Если личность – то гениальная. Если поддон – то величайший!

А люди продолжают ехать и ехать из стран СНГ, чтобы посмотреть в свое зеркало жизни. В Израиле бытует анекдот на эту тему: «Предпоследний еврей звонит последнему: – Хаим, когда будешь уезжать из России, не забудь погасить свет». Почему-то не смешно, а грустно, правда? Таковы мои первые впечатления об этой необычной, божественной стране со столицей – белокаменным Иерусалимом – центром трех религий: иудаизма, мусульманства и христианства.

А я прохожу по древним улицам Иерусалима, приближаюсь к древней Стене Плача. Как и многие другие припадаю к ее шершавой поверхности... и слышу ее голос:

Ложитесь, не стойте!

Прижмитесь плотнее всем телом.

Здесь пули свистят.

Здесь, отчаявшись, смерть озверела.

Но есть тишина

За моими глухими камнями

И белый вьюнок,

Непристойно навешанный снами.

Есть выступ и щель. Для ослабшей, испуганной птицы. Стена – я всегда меж погоней и смертью граница. Здесь Некто однажды прошел, не оставивший тени, мгновение – и в вечность мои обернулись камения. Теперь точно знаю, что время судейское значит, Я – Плача Стена, Я – стена, за которой не плачут...

Я этой ночью, у ее ступеней, горячий лоб, прижав к сырой стене, выслушиваю, как благословенье, все, что над ней играет в вышине. Так хорошо – и темень, и улада, и росы наливные до зари, и никуда идти уже не надо, и ни о чем не надо говорить. В Иерусалиме, городе высоком, живой купели неба и огня, все откровенья, названные Богом, лежат навечно в сердце у меня.

Генриетта Ляховицкая

«ТЫ НЕ ИЗГНАН ИЗ РАЯ, ИЗРАИЛЬ!»

Из записей «Мой взгляд на черту неоседлости»

Такое молодое Государство отмечает юбилей – всего-то шестьдесят лет. Для Истории – мгновение, для человечества – два поколения, но для многих людей – вся их жизнь.

Такой древний Народ вновь обрёл государственность. Быть может, она и не терялась, эта государственность? Просто таилась в священных свитках Торы, в томах Талмуда, в крошечных пергаментях мезуз и в молитвенных коробочках, закрепляемых на головах молящихся евреев, и в самих этих головах.

Такая вечная Земля приняла свой Народ, чтобы он напоил и возделал её, вернул ей плодородность, украсил виноградными лозами, укрыл в тени деревьев и порадовал смехом детей.

Такой древний Язык обновился, омолодился, вновь стал Государственным Языком, родным для новых поколений евреев.

Небывалое чудо, что всё это свершилось!

ИЗРАИЛЮ

Государство Израиль!

Ты моложе меня, ты моложе!

Я молюсь за тебя:

долгой жизни

пусть даст тебе Боже,

и покоя суровым твоим

поскогорьям и склонам,

и бежево-жёлтым камням,

и недвижимым, солёным,
поседевшим
от древности водам
под высоким и царственным,
всепокрывающим сводом
пусть подарит Он тоже,
наш Боже.

Я молюсь за народ:
долгой жизнью
в скитаньях изранен,
бесприютной судьбою своей
он не сломлен, не сломлен,
и бедственно-тяжким тем дням,
и от пота солёным,
поседевшим
от ужаса годам
не поддался и выстоял –
на удивленье народам.

Ты не изгнан из рая,
Израиль!

Чудо возрождения Израиля свершилось после Холокоста и вопреки ему. Евреев больше не должно было быть в Германии. Но они есть! Немногие, уцелев, вернулись. Многие приехали из бывшего Союза. Союз этот был когда-то Россией. Евреи, уехавшие оттуда в Израиль и в Германию, говорят по-русски. Их называют русскими. Так получился Еврейский треугольник – «Израиль – Германия – Россия». Он сложнее и непостижимее Бермудского.

В обычном треугольнике, лежащем на спокойной, ровной плоскости, сумма углов равна ста восьмидесяти градусам. Так что слишком острыми сразу все три угла быть не могут. А вот на искривлённой поверхности все три угла одновременно могут стать опасно острыми.

Еврейский треугольник прочерчен на поверхности, страшно искривлённой чудовищными историческими судорогами. Его углы

каждый из них – может быть острее иглы... Но чудо свершилось и да продлится оно.

Берлин, Германия, 2008 – год 60-летия Израиля.

«ТАК СВЕРШИЛИСЬ СТО ЛЕТ ТЕЛЬ-АВИВА»

«Нет ни русской, ни еврейской, ни английской, ни турецкой, ни иной какой-либо земли. Вся земля Господня, и Господь – единственный коренной житель на земле. И подлинное право на тот или иной кусок Господней земли дают не исторические завоевания, не исторические перемещения, не факт многовекового владения, а то, сделала ли нация кусок Господней земли плодотворным и порядки на ней справедливыми или... гноит нация пространства Господни, попавшие к ней в руки. Жестоко спросит Господь с такой нации за Имущество Свое. Но воздаст Господь нации, хранящей Имущество Господне»

Из романа «Псалом» Фридриха Горенштейна

Весной, а точнее, в воскресенье 11 апреля 1909 года на пустынном восточном берегу Средиземного моря проводилась жеребьевка ракушками – какой кому достанется участок земли.

Сто пятьдесят евреев на своих запряжённых лошадьми повозках, то и дело увязающих в песке, собрались в трёх километрах от древнего Яффо. Ранним утром Акива Арие Вайсс собрал на морском берегу по шестьдесят белых и коричневых раковин. Он надписал чёрными чернилами на белых раковинах имена претендентов, а на коричневых – номера земельных участков. Затем начертил на песке план шестидесяти равных по величине участков, снабдив их номерами.

Мальчик и девочка вынимали из корзины одновременно одну белую и одну коричневую ракушку. Так, по случайному выбору, определялась принадлежность каждого из участков. Не мне судить, скрывался ли за выбором только случай, или, быть может, подлинный Владелец земли, но получилось всё удачно – начал строиться и быстро расти овеваемый свежим морским воздухом город Тель-Авив. Так начинался для этого города век его молодости в новые времена.

ВЕК МОЛОДОСТИ

Где века проходили сонливо,
древний холм тосковал сиротливо,
и волна набегала лениво,
на песке оставляя извивы –
пусто было там без Тель-Авива.

Там однажды, пустыне на диво,
люди собрались гурьбой говорливой,
чтобы жребий решил справедливый,
как построить им город счастливый –
пусто было им без Тель-Авива.

Это так же, как в любимом мною празднике Пурим – вроде бы, не упоминается Бог в библейской книге «Эстер» и люди, бросая жребий – «пур», сами определяли ход событий, а вот всё так искусно сложилось в те древние времена в пользу евреев, что они до сих пор каждый год всюду радуются и веселятся. К слову сказать, уже в 1913 году по городу прошло первое костюмированное шествие жителей, отмечавших Пурим. Было где развернуться – это вам не узкие, грязные, душные переулки старого Яффо, откуда вырвались зачинатели Тель-Авива.

Нынче и переулки Яффо преобразились. Если смотреть со стороны гавани, то на заднем плане, на холме, можно увидеть бывший старый город. Поднимаясь к нему, попадаешь в обновлённый квартал, где каждое строение, сохраняя старинные черты, любовно отделано и превращено в удобные дома с мастерскими художников, с галереями. Времени у туристов мало, но хотя бы в один только дом войти, например в галерею Франка Майслера. Я вошла, а вот уходить не хотела. Населяют её такие искусные работы из металла, что каждую можно по часу рассматривать. Я буквально приросла к «Скрипачу», пока не увидела «Контрабас». Гриф его слился с головой и плечом музыканта, кисть руки которого сжимает смычок. Между плечом и кистью нет ничего, кроме воздуха, а кажется, что это – единая живая рука, с виртуозной лёгкостью исполняющая клезмерскую мелодию...

Кстати, о мелодиях. В молодом Тель-Авиве общественная и культурная жизнь концентрировалась вокруг гимназии «Герцлия». В ней преподавал музыку уроженец Бесарабии Ханина Бен Ицхак Карчевский. Певец, музыкант, дирижёр, умер, не дожив до сорока лет, но гимназия издала сборник всех его песен «Мелодии Ханины». До сих пор поют в Израиле его песни, хранящие российско-еврейский стиль...

Израиль и Россия – две стороны исторически особого «еврейского треугольника». Германия – третья его сторона. Многие накрепко спаяно в этом треугольнике. Вот и в Тель-Авиве архитекторы-иммигранты из Германии, обученные там в Академии искусств и дизайна «Баухаус», возводили строения в своём модернистском стиле. В окраске домов преобладал белый цвет, и эту застройку стали называть «Белым Городом».

«Тель-Авив» в переводе – «Холм весны». Действительно, по особому выглядит город весной, когда радуют глаз экзотические цветы, а голубизна неба сливается с бирюзой Средиземного моря. Золотой его берег – километры песчаных пляжей...

Город рос, объединился с Яффо, включил в себя Холон, Бат-Ям, Рамат-Ган, Бней-Брак, Гиваттаим... Это – «Город без перерыва», и жизнь в нём бурлит непрерывно.

Так, рождённый мечтой горделивой,
дом за домом, трудом терпеливым
воздвигался там город красивый –
чистый, белый и «без перерыва» –
пусто было бы без Тель-Авива.

Дети в нём веселы и шумливы,
и цветы по весне прихотливы,
и заботами рук хлопотливых
плодоносны в предместьях оливы –
так свершились сто лет Тель-Авива.

Довелось мне, пусть коротко, своими глазами увидеть «Холм весны». И думалось, что на этом, уже сделанном плодотворным, «куске земли»

не только хранят, но и приумножают «Имущество Господне». И воздаёт за это Господь живущей здесь древней нации, возрождая её молодость. Недаром средний возраст трёхсотшестидесятитысячного населения города – тридцать четыре года, и каждый день рождаются двадцать новых «тель-авивян». Да не будет судьба гневлива к мирным жителям Тель-Авива!

Февраль-март 2009, Берлин

Давид Яновский

С немецкого

ГЮНТЕР АНДЕРС

ИЗ ЦИКЛА «МОЁ ЕВРЕЙСТВО»

Гюнтер Андерс (Штерн), философ, писатель, журналист. Род. в еврейской семье в 1902 г. в Бреслау, в семье психологов. Окончил философский факультет во Фрайбургском университете. В 1933г. эмигрировал во Францию, в 1936г. – переехал в США, где не мог найти работу из-за левых взглядов. Боролся против применения атомного оружия. В 1950г. вернулся в Европу, в Вену. Работал переводчиком, писал статьи о философии искусства (о творчестве Кафки, Рембрандта, Шуберта и др.). Умер в 1992 году.

Прежде, чем я начну, хочу устранить возможное недоразумение. Многие из тех, кто знает о моей борьбе против фашизма, атомной угрозы и войны во Вьетнаме, будут удивлены, узнав, что я еврей. Ведь моя фамилия звучит по-скандинавски. Но это только псевдоним, который я придумал много десятилетий назад, совершенно не думая об «аризации» своей фамилии. Родился я с хорошей еврейской фамилией Штерн. И как таковой, с открытым забралом хочу предстать перед вами.

Но прежде чем писать о еврействе этого Гюнтера Штерна, – одно замечание о нашем времени. Мне кажется, что сейчас, с одной стороны, желание отмежеваться от нацистского прошлого, которое более или менее честно (скорее менее чем более) возникло после 1945 года, превратилось в ностальгию, и для многих время массовых убийств, стало «добрым старым временем». С другой стороны, слепая ненависть, жертвой которой стали миллионы людей, проявляется снова. Я говорю «снова», так как речь идёт не о постаревших антисемитах прошлого, а о

молодых людях, большинство из которых ни разу не встречались лицом к лицу с евреем. Поэтому эта ненависть ещё страшнее, чем слепая ненависть их отцов и дедов. Как известно, недавно в Ганновере – были осквернены и разрушены еврейские надгробия. Этот вандализм доказывает, что мы, евреи, даже мёртвые, для некоторых наших современников, как кость в горле.

Как случайно выживший еврей, который случайно имеет возможность говорить от лица миллионов убитых, я чувствую себя обязанным обратиться к сыновьям и внукам убийц. Не ради нас (о нас, немногих выживших, можно и не думать), ради вас самих вы должны уничтожить все зародыши рецидива того, что произошло. Чтобы вы не повторили путь своих отцов и дедов: не стали сотрудниками лагерей уничтожения, а потом не прожили остаток своей жизни, как бывшие палачи. Такая жизнь не только позорна, но и несчастна. В немецком языке оба эти значения объединяет очень точное слово «*unselig*» (злосчастный).

Так. Теперь о моём еврействе.

Если вы меня спрашиваете, когда я впервые почувствовал себя евреем, я расскажу такой случай:

Однажды, когда мне было около 8 лет, значит примерно в 1910 году, я спросил своего друга, протестанта: «Во что ты, собственно, веришь?» и он мне ответил по-детски: «В то, что мы спасены!»

Так как мне это слово в таком значении было непонятно (впрочем, как и сейчас, 70 лет спустя), я переспросил: «Спасены от чего? От голода? Так от него и я спасён».

И он ответил мне высокомерно, как человек обладающий монополией: «Кто говорит о голоде? Естественно, мы спасены от грехов!» Когда я спросил: «Почему естественно? У меня, например, грехов нет. И что это такое вообще?» – Он ответил: «Чушь! Все грешны. Это написано даже в вашей библии. Но мы от них спасены, а вы нет. Что, съел?» Тогда я спросил: «А почему мы нет?» И он ответил: «Потому, что вы распяли нашего Спасителя!»

Когда я заверил его: «Честное слово! Я этого не делал. И мой отец, и дед тоже!», он злоратно рассмеялся и ушёл. На следующий день он со мной не разговаривал. Когда на третий день я спросил его: «Почему ты перестал со мной дружить?» – он ответил: «Как будто ты сам не

знаешь!» Тогда я впервые понял, что-то со мной не в порядке. И это означало: я еврей.

Если вы спросите, когда я впервые почувствовал еврейскую судьбу преследуемого, я отвечу: в 15 лет, в 1917 году, за немецко-французским фронтом, в деревне Римож, где мы, гамбургские гимназисты, собирали урожай для нашей армии. И вот еврейская судьба:

Я подружился с врагом, пятнадцатилетним французом, сыном расстрелянного немцами партизана. Мы с ним поклялись «перековать мечи на орала» и торжественно заключили первый «Союз народов», – «*unio populorum*», так это звучало на латыни, языке на котором мы общались, т.к. я не знал французского, а он – немецкого. Когда об этом узнали мои соученики, я испытал то, что потом терпели тысячи таких, как я: каждую ночь меня обливали ледяной водой и мазали грязью.

Если вы спросите, когда я впервые почувствовал связь с еврейским прошлым или с тем, что можно назвать «еврейской миссией», то я отвечу: это произошло 40 лет спустя, в 1958 году на рыночной площади Киото, в день памяти Хиросимы. Когда я, стоя под палящим августовским солнцем, говорил о том, что всемирная Хиросима не только возможна, но и вполне вероятна, я, неверующий, чувствовал, что рядом со мной стоят пророки Ветхого завета и шепчут мне грозные слова своих предсказаний. А если вы спросите, в какой день я испытал самый глубокий стыд – нет, не стыд быть евреем (никогда я не испытывал большего стыда, чем тогда, когда я встречал еврея, который стыдился быть евреем), а стыд за то, что я, еврей, ещё живу на этом свете, то я вам отвечу: в тот летний день, через 7 лет после Киото, когда я стоял в Освенциме перед горами обуви, очков, обрезанных кос, вырванных зубных протезов и оставшихся без хозяев чемоданов. И среди них, собственно, должны были быть и мои очки, мои зубные протезы, мои чемоданы. Тогда я почувствовал себя дезертиром, потому что я не был узником Освенцима, потому что я случайно избежал этого. И я не мог подумать «Слава Богу, что я остался жив». Как можно перед лицом миллионов тех, кто был виновен ничуть не больше, чем я, и ушёл с дымом крематориев в небо, благодарить за то, что остался жив? Да и кого благодарить, если никто не захотел предотвратить гибель шести миллионов. Этот стыд тесно связан с удивлением. Начиная с моего первого знакомства с еврейской историей, я не перестаю удивляться

тому, что, несмотря на все преследования, избиения, бегства и скитания, мы сохранились как народ. И то, что и сегодня, после трагедии Холокоста, существует остаток остатка нашего народа, и случайно и я принадлежу к этому остатку остатка, – это чудо, которому я не перестаю удивляться много лет. И я хочу, чтобы оно сохранилось при любых обстоятельствах. Потому что мысль о том, что оплаченное такой кровью спасение выживших окажется напрасным, для меня невыносима. Поэтому я считаю себя евреем и именно как таковой и буду похоронен, даже если это будет без раввина и в каком-нибудь случайном месте.

И в заключение: два года назад я стоял у Стены Плача, там, где в 70-х годах н.э. началась агасферическая история моего народа. Но утверждать, что круг замкнулся и я почувствовал, что вернулся домой, – было бы неправдой. И именно бесприютность, а не этот кусок стены делает меня евреем.

Совсем по-другому чувствовали себя два еврея, которые стояли справа и слева от меня. Для них это место было самым святым на земле. Они в трансе раскачивались вперёд и назад, бормоча молитвы, и снова и снова целуя бесчувственные камни, ради которых они приехали сюда, очевидно, из Америки. Один из них, седобородый, был примерно моих лет, около 75, другому было около 30. Если бы старший не напоминал мне моего покойного отца, а младший – моего внука, тогда бы то, что они обожествляли сотворённую человеческими руками вещь, показалось бы мне даже нееврейским. Ветхозаветных пророков, наверное, возмутили бы эти поцелуи, а я, неверующий потомок этих пророков, был глубоко поражён этим идолопоклонством. Мой «внук» был так увлечён, что не обращал никакого внимания ни на туристов, ни на меня. Наоборот, бородатый старик, который, конечно, сразу узнал во мне еврея, неоднократно поглядывал на меня испытующе. Его, очевидно, раздражало то, что я не молился. Как мог бы я ему объяснить, что я не только не умею, но и не хочу молиться?

Потому что я, в отличие от моих родителей и дедушек, не знаю, что означает «молиться».

Как бы то ни было, мой «брат» в конце концов, не выдержал и, ударив себя левой рукой в грудь, обратился ко мне на чистом бруклинском диалекте, качая бородатой головой, как человек, который потерял самообладание из-за глупости ближнего: «Без нас и тебя бы

здесь не было!» После этого краткого сообщения он возобновил свои раскачивания и бормотание. Очевидно, он это делал ради всех евреев, а значит, и ради меня. Не могу сказать, что я сразу правильно понял его мысль, хоть она и не была чужда мне. Но я все же удалился на цыпочках, чтобы не мешать ему. Он на это не обратил никакого внимания.

Однако скоро я понял, что этот старик имел в виду, и хочу сейчас и здесь высказать ему свою благодарность, даже если она до него никогда не дойдёт.

Итак:

Я, который начинает заикаться, когда его спрашивают, в чём состоит его еврейство;

Я, который провёл свою юность без Торы;

Я, который никогда не праздновал Йом Кипур;

Я, который в свои 30 лет видел Адама, Давида и Иезекиеля только глазами Микеланджело;

Я, который как профессиональный философ, считает недостойным человека принять без проверки любые убеждения и нормы поведения;

Я, который не только не знает никакого Бога, но и считает все религии кощунством, так как они имеют дерзость давать ответы на вопросы, которые мы ещё не имеем права задавать;

Я, несмотря на всё это, должен высказать свою благодарность моему бородатому брату в кафтане, и не только ему, но и тем 70 поколениям таких, как он, которые жили до него.

И именно за то, что они, несмотря на все преследования и избиения, со времени разрушения Храма упрямо пронесли и передали следующим поколениям свою Тору и ставшую давным-давно абсурдной систему обычаев, регулирующую почти поминутно всю их жизнь. Благодаря этому они, не имея под ногами клочка земли, который они могли бы назвать своим, сохранили свою идентичность. Да, именно им я должен высказать свою благодарность, потому что без их упрямства и я пропал бы где-нибудь по дороге, в Александрии или Гранаде, Амстердаме или Лодзи, как пропали, не оставив следа, мои бесчисленные братья и их родители и прародители.

Да, он прав, мой бородатый брат в кафтане, Без них меня здесь не было бы.



ΠΕΡΕΒΟΔΥ

Леонид Бердичевский

С польского

ВЛАДИСЛАВ ШЛЕНГЕЛЬ

КОЛ-НИДРЕЙ

Содержания этой молитвы
я не знал, но мелодий мольба,
в мою душу, как ампулой влита,
и привычна она, как судьба.

Зажжены поминальные свечи,
дрожь в спине и качанье бород,
всхлипы-жалобы, шёпотом речи,
понижение звуков и взлёт,

в грудь битьё, руки вскинуты к небу,
даже мудрость прочитанных книг.
На пощаду нацелен молебен,
на библейский размеренный стих.

Горьким пафосом, нет, не случайно,
покаяньем «Кол-Нидрей» звучит.
В эту ночь с накопившейся тайной
развернулся прекрасный иврит...

В мыслях я возвращаюсь к той ночи,
слышу, детство мне ранивший, стон.
Это сердце моё кровоточит
и я к этому вновь пригвождён.

Вот евреев испуганных лица, –
униженья, разграбленный ларь,

мордобой и готова вонзиться
в горло их мародёрская тварь.

Растворились мы в круговороте
разных наций: их помыслов, слов,
спрятав головы в плечи и вроде,
сбросив вечные цепи оков.

Отреклись от молитв и шабатов,
и шагаем в обнимку с грозой,
но назад мы глядим виновато
сердцем, мыслью, застывшей слезой.

Возвратиться, наверно, не поздно
в мир еврейства, в молитвенный круг,
где слышны нескончаемо просьбы
материнских заломленных рук.

Шелестя пожелтевшей страницей,
закрепив от тфиллина ремень,
мы представим покорные лица
в судный, снявший проклятия, день.

При печальной молитве «Кол-Нидрей»
будем с Богом вести диалог,
и тогда станет всем очевиден
путь, в который направил нас Бог.

С немецкого

ЭЛЬЗА ЛАСКЕР-ШУЛЕР

Из книги «Еврейские баллады»

РУТ

Ты меня сторожишь у забора, в саду.
Я по звуку шагов тебя сразу найду.
Мои чёрные капли-глаза оживают.

Расцветает твой взгляд. Он из недр души.
Он волнует меня. Погоди – не спеши.
Перед сном моё сердце, как льдинка, растает.

Стрелки жизни часов на ночь переведу
и появится Ангел у дома, в саду.
Тишину принесёт. Все мгновенно замрут.
он любовную песню споёт тебе, Рут!

ЕВА

Ты предо мной свою склонила голову
и волосы упали на чело.
А губы мягче, розовее более
всего, что в Райских кущах расцвело.

Ты вся дрожишь в загадочном желании,
любовь лишь зарождается в душе.
Взволнованней становится дыхание,
твои мечты накалены уже.

Я сохраняюсь в тебе воспоминанием, –
особой первозданной теплотой.
Во мне ты – юности благоуханием
и с головой, склонённой предо мной.

КАИН И АВЕЛЬ

Богу не нравится Каина взгляд.
Улыбка Авеля – в золоте сад,
глаза его – соловья радушьё.

Авеля песни тем хороши,
что он их пел на струнах души.
Каина тело – смрадная лужа.

Ты брата убил, преступник Каин,
в вечности ты не прощён, не покаян.

И сквозь века к тебе месть стремится,
ты загубил прекрасную птицу

в лице единокровного брата,
к тебе спешит потомков расплата.

САВАОФ

О, Бог, влюблена я сильнее,
когда ты в облачении роз
по саду идёшь.
Ты юн, Саваоф,
твоим ароматом полна я,
великий Поэт!

Кровь моя грустит по тебе,
приди же скорей,
мой сладостный Бог,
прекраснейший Бог!
Врата твои золотые
от моих желаний пылают.

САУЛ

Мелех хранит Иудеи покой.
Верблюд тащит крышу над головой,
и кошки пугливо жмутся к колоннам.

Вот ночь оступилась в могильный мрак.
В глазах Саула сомнения страх.
В небо взлетают рабыни со стоном.

Стоят хананнеи у самых ворот,
и смерть не желает двигать в обход, –
солдат с булавами с полмиллиона.

ЭСТЕР

Эстер стройна, как пальма полевая,
её губами пахнет праздник урожая, –
полны пшеницей стебли в Иудее.

И на псалме всем сердцем отдыхая,
слышна химерам музыка евреев.

И лики Бога и Эстер повсюду, –
Улыбки дарит царь простому люду.

А юные еврейские поэты
Слагают песни для сестёр при этом.

АГАРЬ И ИСМАИЛ

Забава детей Авраама – ракушки,
из них им челны мастерят, как игрушки.
Тревогу увидел Исак Исмаилову.

Два лебедя чёрных запели тоскливо
о мире тревожном и торопливом.
У стражи украла Агарь сына милого.

От слёз их могли б даже льдины растаять,
сильней, чем источник, шумели сердца их
и бились быстрее, чем страусы крыльями.

А жгучее солнце залило пустыню, –
светило оно для Агари и сына,
вгрызаясь в песок, поощряло насилие.

Генриетта Ляховицкая

С польского

ВИСЛАВА ШИМБОРСКА

ЕЩЁ НЕ ПОРА

В вагонах, на которых пломбы,
где рельсами изрезана страна,
всё едут, едут имена,
бедой измучены, бездомны.

Имя Натан кулаком в стену вагона бьёт,
имя Ицхак в помешательстве песню поёт,
имя Сара воды дать скорей умоляет
имени Арон – от жажды оно умирает.

Давида имя, нет, не прыгай на ходу,
ты там обречено на горе, на беду.
Для тех, кто хочет жить в стране свободно,
такое имя больше не пригодно.

Для сына бы лучше славянское имя иметь,
где по виду волос осуждён может быть человек,
где отделяют добро ото зла, жизнь и смерть
по именам и по разрезу век.

Не прыгай на ходу. А сын пусть будет Лехом.
Не прыгай на ходу. Ещё не пора, остынь-ка.
Не прыгай. Ночь отзывается эхом, как смехом,
она предразнивает стук колёс на стыках.

Туча людская большая прошла над страной,
но маленький дождь от неё – одна лишь слеза,
маленький дождь, одна слеза, сухие глаза.
Рельсы ведут в чёрный лес. Встал он стеной.

Так-то, так, колёса стучат на рельсовых стыках.
Так-то, так. Лес без полян. Транспорты криков.
Так-то, так. Ночью разбужена и не усну,
так-то, так, стучит тишина об тишину.

С идиша:

МЕЛЕХ РАВИЧ

ЗРЕЛИЩЕ МЁРТВЫХ ДЕТЕЙ

Мой взгляд застыл, глаза окаменели – часами
всматриваюсь я в картину эту,
может быть, годами:
вот дети гетто мёртвые лежат, лампадки слабые,
угасли фитильки...
Я цепенел, и вдруг заулыбались их личики,
и в танце тела сплелись, как мотыльки.

Конечно, в танце сцеплены ручонки,
они ведь только прилегли немного,
им стало жарко. Скинув рубашонки
лежат, и проступают рёбра
из клеточек грудных. Я начал торопливо
с самим собой без смысла говорить,
без смысла и без слов, без звука
губами беспрестанно шевелить.

Заходит солнце или, может, мир.
Ночь поглотила жуткую картину.
Я шёл по улице. Стояла тишина. Спокойно
там фонари висели длинным строем,
и мне пришло на ум, что в мире целом
светильники повесились так, словно...
Сошёл с ума? Я? А быть может, он? Кто?
Мне было страшно вымолвить то слово.

Марк Шейнбаум

С польского

ЮЛИАН ТУВИМ

МЫ, ПОЛЬСКИЕ ЕВРЕИ

Моей матери в Польше или любимой ее тени

I

...И сразу слышу вопрос: «Откуда это – мы?».

Вопрос в значительной степени оправданный. Задают мне его евреи, которым я всегда объяснял, что я – поляк; а теперь зададут мне его поляки, для огромного большинства которых я и так был и остаюсь евреем. Так вот, ответ одним и другим.

Я – поляк, потому что мне так нравится. Это мое личное дело, и я не подумаю по этому поводу ни перед кем отчитываться, объяснять, обосновывать. Я не вздумая делить поляков на «чистокровных» и «нечистокровных», оставляя это чистокровным расистам, родимым и неродимым гитлеровцам. Я разделяю поляков, как и евреев, как и другие народы, на умных и глупых, порядочных и жуликов, интеллигентных и занудливых, унижающих и униженных, джентльменов и неджентльменов etc.

Разделяю также поляков на фашистов и антифашистов. Эти два лагеря, естественно, не являются однородными, каждый из них богат оттенками красок различной интенсивности. Однако водораздел явно существует, и скоро его удастся отчетливо обозначить. Оттенки останутся оттенками, однако четкость водораздела определится, и сам он углубит-

ся самым решительным образом. Я мог бы сказать, что в политическом смысле разделяю поляков на антисемитов и антифашистов. Потому что фашизм – это всегда антисемитизм. Антисемитизм – это международный язык фашистов.

II

Если бы, однако, пришлось обосновывать свою национальность или, вернее, национальное самосознание, – я поляк, исходя из очень простых, почти примитивных причин, в основном рациональных, частично всё же иррациональных, однако без мистической приправы. Быть поляком – это не почет и не честь и ни в коем случае не привилегия. Так же с дыханием. Я не встречал ещё человека, который гордился бы тем, что дышит.

Поляк – потому что родился в Польше, здесь вырос, здесь меня воспитали, здесь я учился, потому что в Польше я был счастливым и несчастным; потому что из эмиграции хочу возвратиться именно в Польшу, если бы даже в других местах мне был бы обещан рай.

Поляк – потому что по какому-то очень странному предрассудку, который не поддается ни научному, ни просто логическому объяснению, жажду, чтобы меня после смерти приняла и всосала польская земля и никакая другая.

Поляк – потому что мне в отцовском доме по-польски об этом сказали; потому что я там польской речью с пеленок вскормлен был; потому что мать учила меня польским стихам и польским песенкам; потому что, когда возникло первое поэтическое потрясение, оно разразилось польскими словами; потому что то, что в жизни стало главным – поэтическое творчество, не мыслится мною на каком-либо другом языке, если бы я им даже великолепно владел.

Поляк – потому что исповедовался по-польски о тревогах первой любви и по-польски лепетал о принесённых ею радостях и бурях.

Поляк еще и потому, что береза и верба мне ближе пальмы и кипариса, а Мицкевич и Шопен дороже Шекспира и Бетховена. Дороже по причинам, которых никакой логикой не объяснить.

Поляк – потому что я перенял у поляков определённую долю их национальных недостатков. Поляк – потому что моя ненависть к польским фашистам значительно сильнее, чем к фашистам другой национальности.

И считаю, что это чрезвычайно важное доказательство того, что я поляк.

Однако, прежде всего, я поляк, потому что мне так нравится.

III

И тут слышу голоса: «Ладно, но если поляк, то в таком случае, почему «Мы – евреи»? – Спешу с ответом: «ПО КРОВИ» – «Значит, расизм?!» – «Нет, вовсе не расизм, как раз наоборот.

Разной бывает кровь: та, что течет в жилах, и та, что течет из жил. Первая – это жидкость, циркулирующая в теле, значит, ее изучение в компетенции физиологов. Кто этой крови приписывает какие-то другие, кроме физиологических, особые характеристики и таинственные свойства, тот, как это мы видим, в результате превращает города в развалины, уничтожает миллионы людей и, в конце концов, привлекает карающий меч на собственное племя.

Другая кровь – это именно та, которую главарь международного фашизма извлекает из человеческих существ, чтобы доказать преимущества своей крови над моей. Это кровь безвинно убитых миллионов людей. Это не кровь, затаённая в венах и артериях, а кровь, ставшая видимой. Такого наводнения мученической крови не знал ещё мир со дня его сотворения, а кровь евреев, именно кровь евреев, ни в коем случае не «еврейская кровь», течёт самыми широкими и глубокими потоками. Почерневшие её ручьи сливаются в бурную пенистую реку.

И В ЭТОМ НОВОМ ИОРДАНЕ Я ПРИНИМАЮ КРЕЩЕНИЕ, КРЕЩЕНИЕ БОЛЕЕ ЗНАЧИМОЕ, ЧЕМ ВСЕ ИНЫЕ КРЕЩЕНИЯ: жгучее, мученическое братство с евреями. Примите меня, братья, в эту почётную общность, общность безвинно пролитой крови. К этой общине, к этому алтарю жажду с сегодняшнего дня принадлежать. Этот титул «Еврея *doloris causa*» пусть будет дан польскому поэту народом, который его породил, не за какие-то особые заслуги, которых у меня нет перед вами.

Я буду считать это авансом и самой высокой наградой за те несколько польских стихов, которые, возможно, меня переживут, и память о которых будет связана с моим именем, именем Польского Еврея.

IV

На повязках, которые вы носили на руках в гетто, была изображена звезда Давида. Я верю в такую будущую Польшу, в которой эта звезда, звезда с нарукавных повязок, станет одной из самых высоких наград для самых храбрых солдат и офицеров польских. Они будут ее с гордостью носить на груди рядом со старинным орденом «Virtuti Militari». Будет еще учрежден Крест Гетто – название глубоко символичное. Будет учрежден также Орден Желтой Заплаты – более почетный, чем многие теперешние.

Будет оставлен в Варшаве, впрочем, как и в других польских городах, и навечно законсервирован в том виде, в каком мы его застанем – во всем ужасе разрушения и пожарищ, какой-то фрагмент руин. Обнесем оградой этот символ позора наших врагов и славы наших замученных героев. Соорудим эту ограду из цепей, отлитых из пленённых гитлеровских орудий. В звенья этих цепей будем ежедневно вплетать свежие, живые цветы, чтобы напоминали они будущим поколениям об уничтоженном народе. В ознаменование того, что жива наша боль и память о нем.

К сонму народных святынь добавится еще одна. Будем туда водить детей и рассказывать о самом страшном в истории мученичестве людей.

В центре этого памятника, окруженного, дай то Бог, стеклянными домами, гореть будет никогда не потухающий огонь. Прохожие будут снимать перед ним шляпы. А кто христианин – осенит себя крестным знаменем.

Мы же в трауре, но и с гордостью будем носить этот почетный титул, превышающий все другие, сияющий ранг Польского Еврея – мы, чудом и по воле случая оставшиеся в живых. С гордостью или, скорее, со склонённой головой и даже со стыдом, так как ранг этот достался нам за ваши муки и вашу хвалу, спасители! Вернее тогда: не «мы, польские евреи», а мы – призраки, тени замученных и убитых братьев наших – польских евреев.

V

Мы – польские евреи... Мы вечно живые – это значит те, кто погиб в гетто и в лагерях, и мы, призраки, то есть те, которые из-за морей и океанов вернемся в страну и будем пугать среди руин целостью сохранных тел и призрачностью как будто бы сохранных душ.

Мы – правда гробов и призрак существования, мы – миллионы трупов и несколько тысяч, может быть, десятков тысяч как будто бы не трупов, мы – братская могила, конец которой теряется где-то за горизонтом, и мы – кровавый обрубок, какого еще не видела и не увидит история.

Мы – душенные в газовых камерах, перетопленные на мыло, которым не смоешь следов грехов всего мира, содеянных против нас.

Мы – мозги которых разбрызгивались по стенам наших убогих жилищ и по каменным заборам, рядом с которыми нас расстреливали только за то, что мы евреи.

Мы – Голгофа, на которой может поместиться необозримый лес крестов.

Мы – те, кто два тысячелетия тому назад дали человечеству одного, Римской Империей безвинно казненного, Сына Человеческого, смерти которого хватило, чтобы ему стать Богом. Какая же религия должна вырасти из миллионов смертей, пыток, унижений и разведённых в последнем отчаянии рук?

Мы – Шлемы, Срули, Моськи, пархатые, бейлисы, гудлаи, имена которых превзойдут имена Ахиллов и Ричардов с львиными сердцами.

Мы – вновь в катакомбах, в бункерах, под мостовыми Варшавы, топающие в вонь канализационной жижи, провожаемые удивленными взглядами здешних постоянных обитателей – крыс.

Мы – с карабинами на баррикадах, среди руин наших разрушаемых с воздуха нищенских жилищ, мы – солдаты чести и свободы.

«Йойне, иди на войну». Пошел, уважаемые господа, и погиб за Польшу.

Мы – для которых крепостью был порог обрушивающегося на нас дома.

Мы – дичавшие в лесах, кормившие детей наших корешками и травой.

Мы – ползающие, скрывающиеся, настороженные, с раздобытой каким-то чудом за последние гроши или вымоленной где-то двустволкой. «А слышал, пан, анекдот о лесном еврее? Жид, видит пан, выстрелил и со страху в штаны наложил. Ха, ха!»

Мы – Иовы, мы в трауре по сотням тысяч наших Уршуль.

Мы – глубокие рвы раздробленных, перемолотых костей и мертвых тел со следами пыток.

Мы – крик боли! Крик настолько протяжный, что он отзовется в самых отдаленных веках.

Мы – ламентация: мы – хор, повторяющий могильное: «El mole Rachmim», эхо которого будет столетием столетию передаваться.

Мы – величайшая в истории куча кровавого месива, которая удобрила Польшу, чтобы тем, кто нас переживет, вкуснее казался хлеб свободы.

Мы – неимоверная резервация, мы, последние из Могикиан, недобитки резни, которых какой-нибудь новый Барнум будет возить по миру, уведомляя на пёстрых афишах: «Неслыханное представление! The biggest sensation in the world! Польские евреи, живые и подлинные».

Мы – театр ужасов, Schreckenhammer, Charbe de tortures! Нервных персон просят покинуть зал!

Мы – над заморскими реками сидящие и плачущие, как когда-то над реками Вавилона.

По всему миру оплакивает Рахиль детей своих, но не сыскать ей их. Над Гудзоном, над Темзой, над Евфратом, Нилом, Гангом и рекой Иордан блуждаем мы в рассеянии, взывая: «Висла, Висла – мать ты наша, серая Висла, не от зари порозовевшая, а от крови».

Мы, которые даже захоронений наших детей и матерей не отыщем; они толстыми слоями улеглись по всей отчизне, распростерлись в одну огромную могилу.

И не будет одного единственного места, где бы ты мог цветы возложить, и придется, как сеятель зерно, разбрасывать их широким жестом: авось случаем и упадут на родную могилу.

Мы, польские евреи... Мы – легенда, источающая кровь и слезы. Кто знает, не придется ли писать стихом из Библии: «Чтобы резцом железным с оловом – на вечное время на камне вырезаны были!» (Иов XIX, 24).

Мы – апокалипсис, достойный глубочайших исторических изысканий. Мы – плач Иеремии: «Дети и старцы лежат на земле по улицам; девы мои и юноши мои пали от меча. Ты убивал их в день гнева Твоего, заклал без пощады!»

«Повергли жизнь мою в яму и закидали меня камнями». «Воды поднялись до головы моей и я сказал: «погиб я». «Я призывал имя Твое, Господи, из ямы глубокой». «Ты видишь, Господи, обиду мою; рассуди дело мое».

«Воздай им, Господи, по делам рук их». «Пошли им помрачение сердца и проклятие Твое на них». «Преследуй их, Господи, гневом и истреби их из поднебесной» (Плач Иеремии II-21; III-53, 54, 55, 59, 64, 65, 66).

* * *

Над Европой высится огромный и всё растущий скелет-привидение. В его пустых глазницах горит огонь опасного гнева, а пальцы сжались в костистый кулак. Он наш вождь и диктатор, он будет нам диктовать права наши и деяния.

Нью-Йорк, 1944 год

С немецкого

ПАУЛЬ ЦЕЛАН

ФУГА СМЕРТИ

Чёрное молоко зари пьём мы вечером
мы пьём его в обед и утром, мы пьём его ночью, мы пьём его и пьём
мы в воздухе роём могилу там не так тесно лежать
Мужчина, живущий в доме, играет со змеями и пишет
он пишет, когда стемнеет в Германию

о твоих золотых волосах Маргарет
он пишет и выходит из дому и звёзды блещут он зовёт своих псов
он зовёт своих жидов копать могилу в замке

он приказывает нам играть к танцу
Чёрное молоко зари, мы пьём тебя ночью,
мы пьём тебя утром и в обед и вечером,
и не напьёмся им никак, мы пьём и пьём.
Мужчина, живущий в доме, который играет со змеями, пишет
он пишет, когда стемнеет в Германию твои золотые волосы Маргарет

Твои пепельные волосы Суламифь мы копаем могилу в воздухе,
где не так тесно лежать

Он зовёт: копайте поглубже, вгрызайтесь в земную твердь
вы вон те и эти пойте и играйте
он выхватывает железо из-за пояса, и размахивает им,

его глаза отдают голубизной
поглубже вонзайте лопаты вы вон те и эти
играйте же дальше к танцу

Чёрное молоко восхода мы пьём тебя ночью
мы пьём тебя днём и утром и вечером мы пьём и пьём
мужчина живёт в доме золото твоих волос Маргарет
пепельные волосы твои Суламифь он играет со змеями
он призывает играйте слаще о смерти смерть
это мастер из Германии
он повелевает, и смычок жалостно касается скрипки,
и тогда вы возноситесь дымом вверх
и вот у нас уже могила в облаках где лежать и вовсе не тесно

Чёрное молоко утра мы пьём тебя ночью
мы пьём в обед мастер из Германии
мы пьём тебя вечером и утром мы пьём и пьём
смерть это мастер из Германии с голубым взором
он попадёт в тебя свинцовой пулей, не промахнётся,
мужчина живёт в доме твои золотые волосы Маргарет
он натравливает своих кобелей и дарит нам могилу в воздухе
он играет со змеями и снится ему мастер смерти из Германии
золото твоих волос Маргарет,
пепел твоих волос Суламифь

Давид Яновский

С немецкого

ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

ПРИНЦЕССА СУББОТА

Видим мы в арабских сказках
Заколдованного принца;
Иногда прекрасный облик
Он обратно получает,

И становится на время
Волосатый монстр – принцем.
Разодет и разукрашен,
Держит флейту он в руках.

Но проходит срок заклатья,
И мы видим, как внезапно
Королевский отпрыск снова
Волосами обрастает.

Одного такого принца
Воспеваю я, Израиль,
Называется он. Ведьмой
Превращён он был в собаку.

Мысли у него собачьи,
И шныряет всю неделю
Он по грязным подворотням,
На потеху беспризорным.

Но по пятницам, под вечер,
Колдовство вдруг пропадает,
И становится собака
Человеком в этот миг.

Благородны чувства принца,
Благородны ум и сердце.
Чисто, празднично одетый,
Он вступает в отчий дом.

«Здравствуй, долгожданный, царский
Моего отца дворец.
Я целую столб у входа,
В пышный Якова шатёр».

Вдруг по дому пробегает
Шум таинственный и ветер,
И невидимый хозяин
Дышит жутко в тишине.

Тихо, только сенешаль
(Проще, служба в синагоге)
Прыгает то вверх, то вниз,
Зажигая лампы в доме.

Как отрадно золотые
Здесь светильники сияют!
И вокруг бимы* пылают
Ярко свечи на перилах.

Пред ковчегом, где хранятся
Свитки Торы за завесой
Из блистающего шёлка
С драгоценными камнями –

Там стоит уже у пульта,
В чёрный плащик наряжённый,
Человечек элегантный, –
Это кантор синагоги.

Суетливо потирает
То висок он свой, то шею,
Демонстрируя при этом
Руку белую свою.

Он тихонько напевает,
А потом всё громче, громче,
И звучит, затем, ликуя,
«Лехо дауди ликрас калэ!»**

Лехо дауди ликрас калэ –
Ты приходи скорей любимый,
Ждёт давно тебя невеста,
Чтоб открыть лицо смущённо».

Эту свадебную песню,
Сочинил поэт великий,
Всем известный миннезингер,
Дон Иегуда бен Галеви.***

Он прославил в песне свадьбу,
Брак Израиля с Субботой,
Тихой госпожой принцессой,
Красоты цветком прекрасным.

В ней, жемчужине Востока,
Больше прелести, чем даже
У самой царицы Савской,
У подружки Соломона.

Эфиопка эта тщетно
Колко умничать пыталась,
И загадками своими
Только скуку наводила.

Наша тихая Суббота –
Воплощение покоя,
И принцесса ненавидит
Споры, ссоры и дебаты,

И не нравится ей также
Показной нелепый пафос,
Пафос громких декламаций,
Вид распущенных волос.

Скромно тихая принцесса
Косы под чепцом скрывает,
Стройная, как мирт цветущий,
Смотрит кротко, как газель.

И любимому принцесса,
Все улады разрешает
В этот день – «Лишь не кури!
Ведь сегодня день субботний.

Но взамен сегодня в полдень
ты услышишь дивный запах,
Запах сказочного блюда –
Будешь кушать чолнт сегодня!»

Чолнт, прекрасный дар Господень,
Сын Элизиума ты !****,
Так его воспел бы Шиллер,
Если б мог он чолнт отведать.

Чолнт – божественное блюдо.
Бог когда-то Моисея
Научил его готовить
На горе святой Синая,

Где Всевышний в то же время
Дал нам всем основы веры,
Дал и заповедей десять
В грозном зареве зарницы.

Чолнт амброзией кошерной
Дан нам Богом справедливым,
Это хлеб, блаженный, рая,
И в сравненье с этим блюдом

Просто мерзкие помои,
Та амброзия, что ели
Боги лживые Эллады,
Маскированные черти.

Съест свой чолнт наш принц,
Довольно расстегнёт жилетку;
Ярко заблестят глаза, и скажет
Он с блаженною улыбкой:

«То не шум ли Иордана?
Иль источника журчанье,
Между пальмами Бет-Эля,
Где верблюды отдыхают?

Слышу ль звон я колокольников?
Может быть баранье стадо
Гонит вниз пастух под вечер,
С гор пустынных Гилеада?»

Но прекрасный день проходит,
Всё длинней деревьев тени,
И приходит превращенья
Горький час, – и принц вздыхает.

Кажется ему, что в сердце
Ледяные пальцы ведьмы,
Впились и грозят кошмаром
Превращения в собаку.

Подаёт принцесса принцу
Нард в шкатулке золочёной,
Медленно вдыхая, хочет,
Вновь вкусить он чудный запах.

А ещё подносит принцу
Госпожа прощальный кубок.
Жадно пьёт он; остаются,
В кубке только две-три капли.

Ими стол он окропляет,
А потом берёт он свечку,
И во влагу опускает;
Вмиг свеча шипит и гаснет.

Примечания:

* Бима – возвышение в синагоге для публичного чтения Торы и ритуальных песнопений.

** Лехо дауди ликрас калэ – иди, возлюбленный, навстречу невесте. (арам.)

*** Иегуда бен Галеви (Иехуда ха-Леви) – еврейский поэт и философ (1075 – 1141) Гейне ошибся.

В действительности автором этого произведения является каббалист и поэт – мистик Шломо бен Моше ха-Леви Алкабец (1505 – 1584).

**** Гейне пародирует первые строки оды Шиллера «К радости».

С польского

МАША КАЛЕКО

КАДИШ

На нивах Польши – маков красный крик,
И караулит смерть в лесах под мёртвым небом.

Гниют снопы в полях,
Все пахари в гробах,
И матери в слезах,
И дети просят хлеба.

Лишившись гнёзд, все птицы замолчали,
Леса над Вислой почернели от печали,
И ветви их раскачиваться стали,
Как бородатые евреи на молитве.
Поют псалмы, о милости моля,
Напившись крови, содрогается земля,
И камни плачут.

Кто будет дуть теперь в шофар победный
Для тех, кто спит навек здесь под травой бледной,
Для сотен тысяч тех, когда-то сильных,
Чьих нет имён на плитах надмогильных?
Их перечислить всех лишь Богу по плечу,
Будь в Книге жизни счёт налажен строже.
Мольбу деревьев ты услышь, о Боже!
Сегодня мы зажжём прощальную свечу.

С идиша

ИЦИК ФЕФЕР

ИХ БИН А ИД!

Презрение много поколений
Меня кололо и пекло,
Но море горя и мучений
Я вынес всем врагам назло.
В потоке общей неприязни
Я сохранил свой мир, свой быт,
И я кричал во время казни:
Их бин а ид! Их бин а ид!

Уроки стойкого Акивы
И мудрость Иешаи слов
Учили мести справедливой,
Внушали к истине любовь.
Я сын героев-Маккавеев,
Их кровь во мне всегда кипит,
И гордо говорю везде я:
Их бин а ид! Их бин а ид!

На горе недругам беспечным,
Что злую смерть готовит мне,
Под знаменем свободы вечным
Счастливым буду я вдвойне.
И в час, когда придут силы

И сад цветущий зашумит,
Увижу я врагов моих могилы.
Их бин а ид!
Их бин а ид!

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Леонид Бердичевский	6
Михаил Верник	13
Нора Гайдукова	30
Марлен Глинкин	32
Дина Езриль	37
Пётр Заманский	40
Альберт Леин	47
Семён Лурье	49
Генриетта Ляховицкая	51
Анжелла Подольская	60
Любовь Рейнгач	78
Вера Фёдорова	80
Альфред Ходорковский	82
Марк Шейнбаум	89
Михаил Эненштейн	96
Давид Яновский	108

ПУБЛИЦИСТИКА.
ЭССЕ. МЕМУАРЫ.

Карл Абрагам	115
Леонид Бердичевский	129
Марлен Глинкин	133
Генриетта Ляховицкая	137
Давид Яновский	143

ПЕРЕВОДЫ

Леонид Бердичевский	149
Генриетта Ляховицкая	154
Марк Шейнбаум	156
Давид Яновский	164

ЭВРЕЙСКИЕ МОДЕРНЫ

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
СОВРЕМЕННЫХ
БЕРЛИНСКИХ АВТОРОВ

